

П Р О

В И Н

УРОКИ ИСТОРИИ

Ц И А

Л Ы

ПРОВИНЦИАЛЫ II

ВИКТОР КУСТОВ



Виктор Кустов

**Провинциалы. Книга
2. Уроки истории**

«ЛитРес: Самиздат»

2014

Кустов В. Н.

Провинциалы. Книга 2. Уроки истории / В. Н. Кустов — «ЛитРес: Самиздат», 2014

Вторая книга "Уроки истории", охватывающая семидесятые годы, раскрывает нравственные и идейные поиски, описывает драматические коллизии, возникающие перед теми, кого относят к шестидесятникам, и теми, кого можно отнести к семидесятникам. Показана духовная жизнь интеллигенции в Иркутске и Красноярске, события тех лет на грандиозных сибирских стройках, а также на многонациональном Северном Кавказе, куда судьба переносит главного героя.

© Кустов В. Н., 2014

© ЛитРес: Самиздат, 2014

Содержание

Страсть к революциям	5
«Не мечите бисер...»	14
Уроки истории	28
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Страсть к революциям

В свои тридцать пять Борис Иванович Черников уже исколесил почти всю страну. Родившись и проведя самые беззаботные годы на берегу Амура в небольшом городке, где главной достопримечательностью было номерное предприятие (оно же и главным работодателем), а отрадой – могучий Амур-батюшка, он, единственный из числа всех своих сверстников, умудрился нарушить традиции, по окончании школы не войдя ни в проходную предприятия, на котором зарабатывали неизлечимые болезни его родители и соседи, ни в тюремные ворота (тюрьма немного уступала «ящику» и по размерам территории, и по гостеприимству), а уехал в Иркутск, где не только поступил в университет, но и закончил его исторический факультет.

Еще на студенческой скамье он проявил себя активным членом общества, был избран в комитет комсомола университета, нес общественную нагрузку и исправно выполнял поручения (что не мешало ему пописывать стихи и на этой почве сойтись с неполитизированной молодежью, к которой принадлежал и писавший пьески Саша Вампилов, и творящий нечто в прозе Валя Распутин). На четвертом курсе он был принят кандидатом в члены Коммунистической партии Советского Союза, а после университета вместо направления в глушь, в таежную даль, оставлен на комсомольской работе, уже оплачиваемой, сначала в своем же университете, а через пару лет стал инструктором райкома комсомола.

Жизнь складывалась вполне успешно, с перспективами роста и приличного оклада, но память об амурских просторах напоминала порой о себе жесточайшей тоской и неприятием того, что его окружало и что приходилось делать. Хотелось раздолья, такого же движения, как неостановимое течение реки; ежедневное мельтешение бумажек перед глазами начало раздражать, вызывая необъяснимые приступы злости на все вокруг, которую он выплескивал на подчиненных и общественников. И, наконец (благо был все еще холост и свободен), он добился, чтобы его направили на горячее государственное дело – начавшееся строительство Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

В забытом поселке, которому выпало познать славу индустриального чуда, он стал секретарем только-только нарождающейся комсомольской организации и руководил ею до того момента, как стройка стала Всесоюзной комсомольской (в этом и его немалая заслуга). Это было замечательное время, когда он спал на разостланных газетах в маленькой комнатке кабинета, отделенного в деревянном здании управления строительства, от темна до темна мотался по разбитым грузовиками дорогам, наслаждаясь безразмерьем байкальской шири, и знал всех встречных, а все знали его. Это было время открытых улыбок, счастливого смеха, трудового азарта, неслышного стога тайги и грандиозных замыслов.

Здесь он встретил Нину, приехавшую начинать новую газету, выпускницу своего же университета (он не мог там видеть ее прежде, потому что она поступила как раз в тот год, когда он защитился), которая стала его женой. Естественно, что делали газету они вместе, согласовывая гранки с секретарем парткома, вместе отстаивали интересы молодежи на стройке, засиживались допоздна в кабинете и, рано или поздно, неизбежно должны были уснуть в объятиях друг друга все на тех же расстеленных газетах.

Рождение сына и получение стройкой статуса Всесоюзной совпали во времени. Черников готов был раздвоиться, чтобы успевать и там и там (сын получил родовую травму, Нина чувствовала себя неважно, на стройку вагонами прибывали комсомольцы-добровольцы, с которыми надо было работать), но увы, физически это невозможно, нужно было выбирать. Он выбрал жену и сына, получил строгий выговор, потерял перспективу стать начальником штаба, глубоко обиделся, не постигая такую несправедливость, и задумался...

Став одним из заместителей начальника штаба (присланного из Москвы), он перестал мотаться по разрастающейся стройке, предпочитая сидеть в новом и теплом кабинете,

исправно исполняя свои функции, и весь инициаторский зуд вложил в чтение первоисточников марксизма-ленинизма, вдруг осознав необходимость разобраться в некоторых социально-нравственных категориях.

Когда сыну исполнился год, а с Черникова сняли выговор, он стал проводить свою линию, отличающуюся от генеральной линии начальника штаба (а по мнению некоторых, и генеральной линии партии), критикуя направо и налево все, что не придется, включая само строительство комбината, который нанесет непоправимый урон уникальному озеру. Он не был одинок, в столице тоже нашлись довольно именитые люди, которые выступали против строительства, и Черников скоро стал их глазами и ушами на берегу Байкала. Его статьи стали появляться сначала в областных, а потом и центральных газетах, и, наконец, он выступил на отчетно-перевыборном собрании с ожесточенной критикой идеи комбината и работы комсомольского штаба по воспитанию молодежи в духе истинных строителей коммунизма.

Выступление это не было ни с кем согласовано, прозвучало диссонансом общему тону и докладу, и всех прочих выступлений, но членами собрания неожиданно было встречено одобрительными выкриками. Может быть, поэтому его не уволили и даже не предложили написать заявление, а, пригласив в райком партии, назначили директором новой, только что введенной в строй школы...

Назначение это можно было расценить как действительно важное партийное поручение (хотя это, несомненно, ставило крест на комсомольско-партийной карьере) и даже отнестись к нему с должной ответственностью, но рамки не только школы, но и Всесоюзной стройки ему уже стали тесны, московские однодумцы (с которыми он уже успел познакомиться не только заочно, но и очно) звали его в столицу, без всякой лести заверяя, что его знания и опыт могут быть востребованы в полной мере только там и что провинция со временем превратит его в брюзгу или партийного функционера. С женой у него начались нелады, она его не понимала и не хотела понимать, настаивая на том, что главное в жизни – это сын и семья, одновременно не одобряя его поведение (хотя выбор-то он в свое время сделал именно в пользу семьи...). Официально не порывая отношений, тем не менее он написал заявление по собственному желанию, выстоял против нелицеприятного и даже угрожающего напора секретаря райкома (была середина учебного года), также выстоял перед слезами и обвинениями со стороны Нины, смягчив расставание только твердым заверением, что будет регулярно высылать львиную часть заработанных (правда, неизвестно еще – где) денег, и улетел в Москву.

Обещавшие золотые горы столичные знакомые действительно приютили его на первые дни и предложили несколько мест работы, из которых самой привлекательной была должность дворника, потому что она подкреплялась служебной комнатой. Пометавшись несколько недель по гостеприимной и одновременно необязательной столице, почти растратив весь денежный запас, он плюнул на предложение «еще потерпеть» и обещания знакомых и устроился дворником, сразу же наметив перспективу – место дежурного истопника в котельной. (Комната плюс заработок побольше и возможность во время дежурств читать и писать.)

На зарплату дворника содержать семью он, естественно, не мог и поэтому стал искать дополнительный источник доходов. И совершенно неожиданно открыл золотую жилу там, где даже не думал. Центральные газеты и журналы охотно брали размышления по разным поводам пусть и бывшего, но все же самого первого комсомольского вожака на ныне всем известной стройке на берегу Байкала, неплохо платили, а тут кстати поднялась новая волна борьбы за сохранение чистоты Байкала. Его стали нарасхват приглашать на всяческие конференции, симпозиумы, совещания...

Круг знакомых расширился и пополнился именами, известными всей стране, что в свою очередь повышало спрос на его выступления в прессе. Основная работа стала мешать, да и нужда в ней отпала, потому что в редакции «Комсомольской правды» он встретил Галочку,

замечательного человечка, она сначала щедро предложила жить в ее однокомнатной квартире на кухне на раскладушке, а потом и на довольно широком диване с ней вместе.

Предложение это было вовремя и кстати, гонорары позволяли отказаться от всяких иных приработков, а в провальные дни выручала зарплата Галочки. Он продолжал исправно высылать переводы жене и сыну (кстати, о том, что женат, он сказал Галочке в первый же день их знакомства) и, протежируемый многочисленными знакомыми, скоро был зачислен в штат «Комсомольской правды». Но буквально через пару месяцев стало очевидно, что он не привык к рутинной работе, не умеет делать строки, отчего не справляется с планом, да и не всегда соглашается с заведующим отделом. И он ушел из газеты и перешел в совсем юный, как и само название, журнал «Юность», потому что сам вдруг начал пописывать рассказы, один из них даже было обещано в той же «Юности» опубликовать (так оно скоро и случилось), а стихи, выданные им за творчество своего друга, уважаемый им столичный литератор назвал графоманией, и он с ним согласился.

Здесь у него не было оклада, не было плана и рабочего распорядка, но были командировки, поездки в любой конец страны и вполне приличные гонорары. Из всех сотрудников журнала он был единственный, кому не сиделось на месте (остальные были обременены семьями и московской жизнью), поэтому из командировок он появлялся затем только, чтобы отписаться, и почти в каждом номере выходили его очерки или репортажи. Попутно из командировок он привозил множество фактов и наблюдений, которые затем тиражировал в иных изданиях и газетах, что позволяло жить безбедно, но в заботах.

Вышедший в журнале рассказ критикой не был замечен, но знакомые его поздравили о вступлении на писательскую стезю и пожелали восхождения до вершин отечественной или даже мировой литературы. Он написал еще несколько рассказов и пристроил их в других молодежных изданиях (правда, с исправлениями и уступками в пользу редакторов).

Из всех командировок самой неудачной (с точки зрения набора материала) и самой интересной (с мировоззренческой точки) была поездка в Одессу, где он совершенно случайно познакомился с группой молодых ребят, которые издавали свой рукописный журнал. Ему позволили его прочесть. Он поразился столь высокой плотности умных (хотя и не бесспорных) мыслей в небольшой тетрадке. Особенно ему понравилась статья некоего Глеба Пабловского, в которой автор безоглядно критиковал комсомол, делая вывод, что он не только не воспитывает строителей коммунизма, но под тот самый коммунизм подкладывает мину в виде обюрокраченных, настроенных иждивенчески, заботящихся исключительно о собственной карьере и равнодушных к проблемам страны людей. И эти люди со временем через партийные органы войдут в высшие круги, будут управлять страной, которую не понимают, да и не любят, а значит, и дальше думать они будут прежде всего о себе...

Со многим в этой статье он мог бы поспорить (и даже хотел, но так и не встретился с автором), но эту мысль об иждивенчестве воспринял как свою собственную и даже попытался ее провести (пусть и в спорном, полемическом виде) в своем материале. Но она была безжалостно вычеркнута редакторским красным карандашом.

Эта поездка, такая безоблачная на первый взгляд, неожиданно оказалась для него судьбоносной. Отчеркнутое красным карандашом начало свое путешествие из редакторского кабинета все выше и выше и даже в сторону. Там заинтересовались одесскими настроениями.

Черникова пригласили на знаменитую площадь, озираемую строгим памятником в аскетичной шинели, побеседовали, выяснили, где и с кем он встречался (про журнал Черников ничего не сказал и про студентов тоже, фразу эту приписал себе), и посоветовали не загружать голову подобными мыслями. Потому что в стране и так дел неуворот, есть куда приложить руки, но находятся всякие тунеядствующие элементы, к примеру, так называемый поэт Бродский... На тех же самых лесозаготовках людей не хватает.

Черников намек понял, но не успокоился, а наоборот, почувствовал некий необъяснимый зуд, который стал материализовываться всяческими ироничными и двусмысленными абзацами в статьях и очерках, и радовался, когда бдительное око редактора или изощренный ум цензора не улавливали вложенный им, Черниковым, потаенный смысл...

После Одессы думающих так же, как Пабловский, людей он встречал в Ярославле, Новосибирске, Томске, Красноярске и даже в близком ему Иркутске (куда он слетал в командировку и написал материал о байкальской нерпе и опять же о вреде уже действующего комбината).

Но больше всего таких людей было в Ленинграде (где незнакомого ему Бродского, осужденного за тунеядство, считали настоящим поэтом, и ему негромко прочитали его стихи, они понравились) и в самой Москве. В Ленинграде он увидел уже настоящий самиздат – отпечатанные и сброшюрованные журналы и книги, выходящие за границей на русском языке. Потом в Москве он стал одним из звеньев цепочки, через которую путешествовали новинки подобной литературы, все более ощущая себя революционером и убеждаясь в том, что нынешние вожди во главе со звездоносцем Леонидом Ильичем Брежневым завели страну не в ту сторону, которую указывали классики марксизмаленинизма, и все более ощущая себя Прометеем или Данко, или просто Революционером, предсказывающим верное направление...

Он изучил секретный доклад Хрущева, развенчивающий культ личности Сталина, собрал все тома «Нового мира» Твардовского, на одном дыхании проглотил «Один день Ивана Денисовича» Солженицына и не смог сдержаться: единственному слушателю, аполитичной и испуганной Галочке, высказал все, что думает о людях, которые заставили уехать из страны такого автора.

Если бы Галочка передала эти слова куда следует, вполне возможно, он отправился бы следом и за автором поразившей его повести, и за другими, оставившими на родине не менее значительные произведения. Но Галочка многие годы писала о здоровой и задорной молодежи, зараженной энтузиазмом гигантскихстроек, свято верила в светлое будущее, считала подобные сочинения выдумкой плохих людей и не сомневалась, что все эти слова вырываются у Черникова только оттого, что у него больше никто не берет рассказы.

Но красные карандаши с каждым годом становились все острее и безжалостнее. Галочка – старше и нетерпеливее, требуя наконец разорвать прежние семейные отношения и узаконить постельную близость с ней и даже порой декларируя свой протест по поводу очередного аборта. Писательская слава была расхватана другими, и те ни за что не хотели делиться. Мотания по стране стали тяготить, а иначе он заработать не мог.

И все это вкупе (да бездарнейшая правка последнего очерка о Соловецкой обители) заставило его грохнуть кулаком по редакторскому столу, подхватить свой плащ (на дворе был дождливый апрель), собрать невеликие пожитки, попрощаться с Галочкой, пообещав обязательно вернуться свободным (уладив все дела с бывшей), готовым к новым узам Гименея, и уехать в свой родной городок.

Родители еще были живы, но уже совсем старенькие и слабые, к тому же оба в своем «ящике» заработали множество болячек. Он попытался подлатать старенький домик, окультурить огородик, но и то и другое у него получалось как-то совсем плохо, гораздо хуже, чем писать, и, погостив несколько недель, он поехал по Транссибирской магистрали обратно в сторону Европы, планируя по пути задерживаться там, где ему приглянется. Но до Байкала ничего нигде не приглянулось (не зря декабристов ссылали в Забайкалье), и он сошел на перроне разросшегося городка, бывшего некогда Всесоюзной комсомольской стройкой, с щемящим чувством былых и таких сладких воспоминаний, прошел по улицам и отыскал дом, в котором жили его жена и сын.

Правда, жена уже была не его. На пороге встретил высокий мужик в майке, обтягивающей налитое тело с выпирающим домашним, уютным животиком, радушно пригласил в дом, и, пока они ждали с работы Нину, а Петьку из хоккейной секции, Лев Богданович, а по-простому

Лева, не таясь, обсказал, что живут они ладно уже третий год, что пацан хороший, послушный, учится нормально и все у них с Нинулей тип-топ...

– Как ты мог такую бабу упустить? – удивлялся он после третьей стопочки, искренне жалея пока еще законного мужа той, которую, судя по всему, считал исключительно своей.

После этих слов и появилась Нина.

За прошедшие годы она ощутимо поправилась, утратив былую талию и фигуру и сохранив только круглое, гладкое, не поддающееся возрасту лицо. Появлению Бориса она нисколько не удивилась, обыденно накрыла на стол, присела между двумя мужьями (бывшим и настоящим), не жеманясь, выпила стопку, а потом и вторую, вскользь поинтересовалась, женат ли ее бывший, и тут же всплеснула руками.

– Господи, я совсем забыла, мы ж еще не развелись...

И залилась жизнерадостным смешком, раскачиваясь на табурете и касаясь налитыми округлыми плечами то одного, то другого.

И Черникову стало как-то неприятно это веселье все еще его законной жены и такое вот уравнивание его с сидящим по другую сторону стола смешливым мужиком. Он решил, что больше не будет отрываться от себя последнее, а заведет сберкнижку и будет на нее откладывать свои добровольные алименты, пока Петька не станет совершеннолетним, и потом эту книжку ему вручит.

Нина сказала, что надо бы оформить развод, потому что Лев Богданович хочет официально зарегистрировать их отношения, и тот закивал головой, не к месту заявив, что они еще планируют настругать пару-тройку своих детишек, вот только Ниночка подлечится...

Та его остановила, сказав, что это Борису совсем неинтересно и его не касается, потому что с ним детей она уже строгать не будет... Черников сказал, что против развода, естественно, не возражает, но при условии, что Петька будет носить фамилию отца и его не будут притеснять в новой многодетной семье.

Нина на это вдруг сморщила лицо, скривилась в беззвучном плаче, стала обвинять его в эгоистичности, корить тем, что за все эти годы он ни разу не поинтересовался, как живет его сын, ни разу не навестил (хотя это было ложью, однажды он был здесь в командировке и виделся с Петькой целую неделю, но, правда, это было еще до того, как тот пошел в школу).

Он понял, что лучше сейчас сменить тему, стал интересоваться, где она работает. Оказалось, что она все так же редактор газеты, только теперь большей по объему, что у нее есть и подчиненные, и служебная машина. Тут Лев Богданович громогласно изрек, что Ниночка – человек уважаемый, член бюро райкома партии. И та, согласно кивнув, в свою очередь сообщила, что и Лев Богданович, несмотря на такой домашний вид, возглавляет профсоюзную организацию комбината, самую большую в городе, имеет немало грамот и прочих поощрений и на хорошем счету.

Черникову все это было неинтересно, он уже составил свое представление об этой паре, в которой его бывшая любовь была столь же чужой, как и этот впервые увиденный сегодня мужик, и, слушая их оживленный рассказ друг о друге, он выстраивал сюжет настоящего рассказа, в котором без жалости отдавал им главные роли, и почти выстроил до прихода сына.

Петька почти доставал ему до плеча, был еще по-пацанячьи худ и угловат, но уже умел сердито надувать губы и осторожничать, поэтому к появлению отца (которого немножко помнил и почему-то чуть-чуть побаивался) отнесся спокойно и отстраненно, навалившись на наложенные матерью в тарелку котлеты с вермишелью, привычно отвечая на необязательные вопросы Льва Борисовича о тренировке и школьных успехах.

Черников сына изучал так же, как привык изучать всех людей (прообразы если не литературы, то публицистики), но одновременно где-то в глубине своего существа понимал, что с этим вихрастым мальчишкой, чем-то похожим на него, их связывает нечто более глубинное, прочное, чем связывало с той же Ниной, что надо бы, по-хорошему, жить если не рядом с

ним, то хотя бы недалеко, чтобы можно было встречаться. Тем более в приближающиеся его отроческие годы, когда, собственно, человек и делает выбор – идти через проходную в одно из учреждений его родного городка или же поискать иные пути...

Он оставил Петьке приличную сумму денег, велел распорядиться ими по своему усмотрению и не отдавать матери. Договорился с Ниной, что, как только она подаст заявление на развод, немедля даст согласие, но сам подавать не будет, потому что ему штамп в паспорте не мешает. Сказал, что как только доберется до своего нового места жительства (куда, пока не знает), тут же сообщит.

И уже за полночь (когда Лев Богданович храпел на супружеском ложе, а Петька тихо посасывал в своей комнате), сидя на постеленном для него диване и наблюдая за все суетящейся Ниной (теперь уже не столь краснощекой и жизнерадостной, а ощутимо уставшей, мечтающей побыстрее прижаться к теплому и мягкому Льву Богдановичу и заснуть), завел речь о том, что хотел бы накопить для сына сколько сможет, а поэтому посылать денег больше не будет.

Нина на это отреагировала неожиданно спокойно, сказав, что, может, он и прав, потому что его переводы существенно не влияют сейчас на их семейный бюджет, потому что и она, и Лев Богданович хорошо зарабатывают, Петька ни в чем отказа не знает, хотя, конечно, с каждым годом расходов на него становится все больше и больше.

Договорились, что определенную сумму (но не меньше той, что присылал последнее время) он ежемесячно будет откладывать на открытую на имя сына книжку (и Нина будет тоже вести свой счет), но если вдруг деньги понадобятся, она ему сообщит, и он тут же перешлет сколько потребуется.

Нина, довольно зевая, ушла после этого в спальню, откуда тут же донесся жалобный стон кровати и невнятный шепот, после которого кровать еще некоторое время притаенно-ритмично поскрипела, наконец, ухнула напоследок, и спустя некоторое время тишину ночных комнат нарушал только мерный, но не очень назойливый храп...

...Он не мог проехать мимо города своей юности, бурного студенчества, волнующих воспоминаний, мимо сокурсников, которые уже десяток лет создавали будущее страны в различных учреждениях (в том числе один из них, Вася Дробышев, в неуважаемом последнее время Черниковым комитете государственной безопасности).

Он остановился в гостинице «Сибирь» (в ресторан которой, своей помпезностью напоминающий о дореволюционных загулах золотоискателей да купцов, в студенческие годы любил заходить в зимние морозные вечера), потому что не знал практически ничего о своих знакомых, ибо последние годы не интересовался ничьей жизнью (про Дробышева узнал случайно от его московского коллеги, когда ему, Черникову, предлагали обоюдополезное сотрудничество, от которого он категорически отказался).

Первым делом заглянул в альма-матер, порадовал бывших преподавателей, очевидно постаревших (кое-кто уже покинул этот мир), своими творческими успехами, попутно ругая столицу и восторгаясь чистотой и мерным током жизни провинции. От все так же озабоченного, рассеянного и все еще не дописавшего докторскую диссертацию заведующего кафедрой Забелина узнал, что тому было известно, о сокурсниках. Большинство из них уехали по распределению в другие города и даже села, там и прижились. В Иркутске остались только Ася Зеленцова, преподававшая тут же в университете, кандидат наук; Андрей Желтков, директор одной из школ; Павлик Коростылев – инструктор горкома партии (большой человек!) и тот же Вася Дробышев.

Очкастая и строгая Ася, несколько не удивившаяся его появлению, поведала кое-какие подробности в университетском коридоре, торопясь на занятия. Они были так скудны, что Черников даже растерялся от такого ограниченного круга его знакомых и стал спрашивать о

тех, кого просто запомнил и с кем в какой-то степени теперь был профессионально близок, о Распутине, Вампилове...

– Саши Вампилова уже нет, – скорбно произнесла Ася, еще сильнее прижав к незаметной груди стопку брошюр. – Он утонул в Байкале... А между прочим, в театре идет его пьеса...

– Надо же... – выдохнул он свое удивление сразу по двум поводам. – Как он так...

И опять же непонятно было, к чему относятся эти слова, к известию о смерти Вампилова или о пьесе...

В той, теперь уже далекой, юности Вампилов писал рассказы, смешные и, как ему помнится, не очень интересные. Но уже в Москве он услышал о талантливом молодом драматурге, сумевшем отобразить метания современников, но прочесть ходившую по Москве рукопись пьесы своего знакомого так и не удосужился.

– Темная история, – сказала Ася. – Они вдвоем в лодке были... Как Моцарт и Сальери... Ну, я побежала, пятнадцать минут кончаются, смоятся мои студенты...

– Давай...

Он постоял, глядя ей вслед, костистой, непривлекательной, как и должны выглядеть незамужние ученые дамы, и пошел к Коростылеву.

Коростылев оказался не только инструктором горкома, но еще и работником отдела пропаганды, который курировал таких, как Черников, творческих людей.

Хоть он и сделал паузу, разглядывая бывшего однокурсника, но тем не менее признал и даже руку пожал с определенной долей воодушевления. И тут же сослался на большую занятость, предлагая встретиться по возможности в другое время и в другом месте. Но когда Черников коротко ввел его в курс своих громких публикаций и вскользь назвал несколько известных всей стране имен, располневший и начавший лысеть с затылка Коростылев стал слушать его более внимательно, уточняя, где и кем он работал, какие публикации были, и, услышав, что Черников, возможно, задержится в городе, неожиданно оживился, предложив ему поработать первое время редактором многотиражной газеты политехнического института.

– Понимаешь, старичок, не могу туда найти толкового редактора, а там учится несколько тысяч молодых людей, у которых черт знает что в голове... Предыдущий редактор, женщина, там такую демократию развела, что до тайного общества дело дошло... Мы ее перевели на другую работу. А в газете сейчас молодой литсотрудник. Но он слабоват, партком никого подобрать не может... Давай, на время... Я понимаю, после центральных газет и журналов тебе это неинтересно, но выручи товарища, а то мне выговора не избежать...

– Признаться, я не думал, – неуверенно начал Черников, еще не решив до конца, отказываться от неожиданного предложения или нет.

Но Коростылев уже звонил в партком политехнического института и расхваливал сидящего напротив товарища, который рекомендовался горкомом на место редактора многотиражки.

– Мне жить негде, – вставил Черников, уже примеряясь к новой должности. И Коростылев тут же передал это невидимому секретарю парткома и повторил слова того, что комната для редактора в общежитии найдется.

– Устроит на первое время? – спросил, закрыв трубку ладонью. —

Ты без семьи?

Черников кивнул, одновременно соглашаясь на комнату и отвечая на вопрос.

– Он согласен, – озвучил этот жест Коростылев и добавил: – Сейчас подъедет...

Он торопливо вывел Черникова из серого серьезного здания, то ли опасаясь, что тот переживает, то ли торопясь на обед, просил заходить без всякого и делиться проблемами, на прощанье заметил, что зря тот не пошел по комсомольско-партийной линии, потому что вполне мог бы уже сидеть в Москве если не в главном, то уж в комсомольском ЦК точно.

Черников не стал возражать, а тем более вводить того в курс своих непростых отношений с партией, из которой его уже обещали исключить, но в которой он еще продолжал состоять и платить взносы, до конца не понимая, зачем это теперь ему нужно.

...Секретарь парткома института Цыбин был уже немолодым, седоволосым, сутулым из-за своего немалого роста и чем-то напоминал классические портреты пролетарского писателя Максима Горького.

Он курил крепкие сигареты без фильтра, все время о чем-то глубокомысленно думал, спрашивал отточенными формулировками, ответы на собственные вопросы, казалось, совсем не слушал. Только взглянул на партийный билет, заметил, что уже два месяца не выплачены взносы, на что Черников ответил, что находился в творческом отпуске, зарплату не получал, но теперь, как и положено, будет платить.

Цыбин велел написать два заявления (и на работу, и в партийную организацию), сказал, что через день состоится заседание парткома, на котором его утвердят, а пока он может ознакомиться с газетой и своим коллективом.

Коллектив состоял из единственного литсотрудника Димы Лапшакова, год назад закончившего университет, и, похоже, не самого успевающего студента. Кабинет, где размещалась редакция (два стола, пишущая машинка и книжный шкаф с перегнутой подшивкой и чайными чашками), был раз в пять меньше кабинета Цыбина. Газета неожиданно оказалась вполне грамотным, приличным по верстке и не занудным по содержанию четырехполосником. Черников спросил у Лапшакова, есть ли что-нибудь в запасе в редакционном портфеле и наличествует ли актив рабкоров. На удивление, и то, и другое было.

Это вселяло оптимизм и в какой-то мере компенсировало скудный оклад, размеры которого сразу же вызвали желание как можно быстрее покинуть город юности (он запоздало пожалел, что не поинтересовался этой немаловажной стороной бытия у Коростылева).

Правда, Цыбин пообещал регулярные премии, а также не возражал, если он будет пописывать и в другие газеты.

Посидев в довольно жестком редакторском кресле, выкурив пару сигарет, чтобы перебить все еще оставшийся от предыдущего редактора запах то ли духов, то ли пудры, устроив несложный экзамен явному троечнику, но старательному литсотруднику, Черников пошел устраиваться в студенческое общежитие, где один этаж был отдан молодым бесквартирным преподавателям и аспирантам и напоминал некий филиал неорганизованного детского сада. Свободная комната оказалась самой дальней и крайней, по этой причине имела соседей лишь с одной стороны, и, как он понял несколько позже, это было большим преимуществом.

Устроившись в общежитии, он пару дней (до заседания парткома, на котором его должны были утверждать) посвятил походам по памятным местам славной юности, предаваясь щемлящему чувству необратимости времени. Сходил в театр, посмотрел пьесу Вампилова «Валентина», послушал мнение театралов и о гениальности так рано ушедшего таланта, и о том, с чьей помощью или благодаря чьему бездействию (товарища в лодке) это произошло.

В буфете столкнулся с задумчивым Вале́й Распутиным. Они не были знакомы накоротке, так – несколько встреч, Черников был слишком активен в студенческие годы, а Распутин в активистах не ходил. К тому же теперь тот уже был членом Союза советских писателей, подающим большие надежды. Черников не без зависти с карандашом в руке прочел его повесть «Деньги для Марии» в «Юности», найдя немало стилистических погрешностей, но тем не менее должен был признать, что Валя и вправду талантлив.

Хотя Вампилов был явно талантливее...

Распутин не сразу его узнал, но поздоровался и потом охотно стал припоминать компании, в которых им случалось вместе бывать в уже прилично отдаленном прошлом.

– Как же так... – разводил руками Черников, имея в виду судьбу человека, замечательную пьесу которого они теперь смотрели, сидя в бархатных креслах.

Распутин развел руками, заметив, что, конечно, могло бы быть все иначе, если бы... Потом поинтересовался, пишет ли что Черников, он ведь вроде что-то пописывал...

Черников не стал обижаться на «пописывал», потому что уже знал – у Распутина вот-вот новая повесть выйдет в «Нашем современнике» (ему там отказали), и назвал несколько своих очерковых публикаций в «Юности», умолчав о рассказе, который увидел свет гораздо раньше повести Распутина.

– Да-да, помню... Гена Машкин говорил – интересные очерки...

(О Машкине, кажется, выпускнике геологоразведочного факультета политеха, Черников слышал. И даже читал его повесть в той же «Юности» – «Синее море, белый пароход». Вполне приличная вещьца...)

Они расстались почти друзьями. Распутин приглашал заглядывать в Дом Союза писателей, хотя тут же сказал, что он не очень-то любит там бывать. Но тем не менее бывает...

И отошел к ожидавшим его друзьям или поклонникам...

«Не мечите бисер...»

Приглашением Распутина заглядывать в Дом Союза писателей в Иркутске Черников не преминул воспользоваться, тем более, что время свободное у него было. При редакции институтской газеты крутились несколько старшекурсников, внештатных корреспондентов (предыдущий редактор сумела их завлечь возможностью бесконтрольно засиживаться в редакции допоздна), с подготовкой очередного номера он справлялся за пару вечеров, поручая литсотруднику Диме Лапшакову контролировать печать в типографии, и в свободное время подрабатывал, выполняя заказы «ВосточноСибирской правды» и «молодежки», выдавая по паре материалов в месяц, относящихся либо к культуре, либо к образованию.

Публикации эти были замечены (все-таки перо у него было), имя вспомнили (а кто и узнал заново), и он стал своим среди пишущих.

...Это, конечно, не тот круг, который Черников знал в Москве, но все же богема, с которой в студенческие годы он не часто соприкасался, и поэтому теперь ему было интересно посещать шумные и дымные заседания писательской братии, театрализованные сборища молодых и не очень (но ощущавших себя молодыми) актеров двух иркутских театров (драматического и ТЮЗа), наблюдая похожую и чем-то все же отличающую от столичной суету. Дух декабристов оказал свое влияние на творческую прослойку местного общества, оно было пропитано революционным задором и высокими помыслами. Казалось бы, далекие от архитектуры литераторы на одном из заседаний отделения Союза писателей с такой горячностью обсуждали проект генеральной застройки набережной части города, что чуть не порвали представленные эскизы, горячо отстаивая свое видение. На обсуждении только что вышедшего в Москве романа Геннадия Машкина от критики и споров со стены сорвался огнетушитель и щедро полил разгоряченных писателей. Обсуждение еще не поставленных пьес Вампилова было дополнено не менее длительным высказыванием полярных мнений по поводу дуэли двух актеров ТЮЗа (мужа и любовника), за неимением пистолетов стрелявшихся из охотничьих ружей, закончившейся легким ранением одного из дуэлянтов.

Так же интересно ему было бродить по коридорам огромного и многолюдного политехнического института, наблюдая новую молодежь, поколение следующее, отличающееся от них большей раскованностью, не говоря уж об ином облике (особенно девушек, позволяющих себе ходить в брюках и откровенных блузках...). Оно ему казалось инфантильно-послушным, хотя у этого поколения были грандиозные стройки, неведомые прежде студенческие строительные отряды, высочайший спрос на их головы и руки. Может быть, его раздражала бездумная вера молодых, что они живут в самой большой и сильной стране мира, несмотря на то, что в магазинах все реже появлялось мясо и колбасы, все длиннее и злее становились очереди, а понятие «дефицит» породило и сделало повседневным новый смысл слова «достать».

В этом новом поколении (в числе тех, кто приходил в редакцию, приносил свои заметки, а чаще стихи), он не увидел желания понять, что же происходит с их страной, куда они все так целеустремленно бегут, замороженные кумачом революционных праздников, и однажды собрал самых активных вечером в кабинете, уже догадавшись, что за тайное общество, о котором его предупреждал Цыбин (а потом и неожиданно нашедший его Дробышев), существует в институте.

Это были две девчонки и четверо ребят, периодически собиравшиеся вместе, чтобы почитать свои сочинения друг другу и поспорить о смысле жизни. Они прозвали свое литературное общество «Хвостом Пегаса» (тем самым придав побочному от освоения основной профессии делу ироничный смысл), а каждому придумали псевдонимы.

Леша Золотников был Пересмешником, Саша Жовнер – Президентом (он был инициатором общества и чаще остальных писал в газету), Володя Качинский – Маэстро, Лена Ханова

– Химуля, Люда Миронова – Барышня. Наособицу был немногословный бурят Баяр Согжитов. Он был просто Баяром, внимательно слушал всех, редко читал свои странные стихи, в которых европейский деятельный ритм пытался ужиться с азиатской созерцательностью.

Они сидели за длинным, натертым до блеска локтями редакционным столом, глядя на него так, как привыкли смотреть за эти годы на преподавателя в аудитории, уже пропитанные иронией по отношению ко всему, что скажет (он это физически ощущал), поэтому жалеть их не стал.

– Вы поразительно инфантильны и безграмотны...

Сказал и выдержал паузу, наблюдая, как меняется выражение лиц, привыкших к похвалам в этом кабинете. Улыбнулся, смягчая сказанное и перекидывая мостик к тому, что произнесет дальше.

– Мы были другими в вашем возрасте...

И понял, что они вспомнили Базарова, естественное противостояние поколений, но не стал торопиться разъяснять, что он имел в виду, давая им возможность ощутить свое единство.

– Нам в голову не пришло бы создавать какой-то «Хвост Пегаса» (как они удивились!) – шутейную организацию лишь для того, чтобы тратить время на пустые разговоры. Кстати, такие же ребята, как вы, может, чуть постарше, в Одессе, собираясь вместе, издают журнал, в котором публикуют интересные исследования... Нет, мы журналов не издавали, но мы много читали, понимая, что диплом – это никак не свидетельство об интеллигентности.

– Откуда вы знаете о «Хвосте Пегаса»? – врезался в паузу Жовнер, невысокий, смуглый юноша с выразительными глазами.

– От товарищей... Которым, кстати, не нравится ничего тайное...

– А мне не нравится ваша безграмотность.

Черников вытащил из папки листки бумаги, исписанные его размашистым почерком, бросил их на стол.

– Это список книг, которые должен прочесть каждый интеллигентный человек. Скажите мне, что из этого списка вы прочли?

Листки разошлись по рукам.

Черников сидел, откинувшись в вытертом предыдущими редакторами кресле, с улыбкой наблюдая за разрозненными (как на экзамене), пытающимися каждый в одиночку решить подброшенную им задачку молодыми людьми.

Они обменивались листками, вчитывались в его не выстраивающийся в удобочитаемый текст даже перед редакторами почерк.

Наконец, Жовнер произнес:

– Кое-что читали... Но не все...

– Половину прочел?

– Я?... Нет.

– А кто прочел с десяток?

Черников обвел взглядом растерянных ребят, остановился на миловидном лице Люси, которая действительно напоминала романтическую барышню из тургеневских романов. Подождал, что скажет она, но та лишь опустила глаза.

– Мы вообще-то учимся в политехническом институте, – негромко произнес Баяр. – У нас нет в программе литературы.

– Ты считаешь, что инженеру необязательно быть интеллигентным, грамотным человеком?

– Почему грамотным не может быть просто хороший специалист?

– Потому что культура, мой юный друг, – это не специальность, которой можно обучить. Культура – это образ мышления, этикоэстетический облик личности.

Он обвел взглядом явно растерянных ребят, мысленно похвалив себя за неожиданно выдуманную им формулу:

– И облик этот складывается из усвоения накопленного человечеством знания и опыта, который хранится, прежде всего, в книгах...

Это список того минимума знаний, которым должен обладать образованный человек, интеллигент...

– Понятно, займемся самообразованием, – произнес Жовнер и стал собирать листочки. – Вы говорили о том, что нашим обществом интересуются...

– Это мы с тобой отдельно обсудим, – сказал Черников. – Хотите собираться вместе – собирайтесь, я не возражаю. Но мне не нравится, что ваши тайны становятся известны другим...

Черников задержал взгляд на Жовнере, надеясь, что он поймет его намек.

И ему показалось, что тот понял, хотя, может быть, только показалось...

Он смотрел на них через пару лет, получающих дипломы, начинающих самостоятельный жизненный путь, и поражался инфантильности, которую они сами почему-то считали детскостью и даже гордились подобным отношением к жизни. Может быть, тому виной отдаленная провинциальная жизнь в центре Сибири? В свое время и он был таким, хотя ему сегодня кажется, что не был... Но одно было очевидно: они еще не знали, что взрослые игры гораздо жестче детских... Власть для них существовала только в лице заведующего кафедрой или декана, недостижимого и оттого словно несуществующего ректора да нарочито серьезных сверстников, отягощенных комсомольскими суетными обязанностями.

В столице – там другое дело, там юные вольнодумцы уже имеют опыт взаимоотношений с властью, знают, кто такие сексоты, а здесь заповедник чистых умов и бесхитростных сердец. Даже сотрудники грозного комитета не стараются держать дистанцию со старыми знакомыми.

Вот и с Дробышевым, бывшим однокурсником, поговорили по душам.

Конечно, построжевший и почему-то поседевший за эти годы Вася не все сказал, что знал, но тем не менее предупредил, что досье на него уже в их контору из столицы пришло и бдеть его здесь будут. И ребят посоветовал поостеречь от глупостей, тем более что сотрудник их, курирующий институт, молодой и старательный, озабочен карьерой, так что при любой возможности постарается из мухи слона раздуть.

Черников ему попытался высказать свое искренне непонимание такого внимания к его персоне со стороны столь тайной и мощной организации, которая, на его взгляд, должна была ловить шпионов и диверсантов, а не вычитывать невесть что между строк в его публикациях и тем более не видеть в его лице врага своей страны. Да, он иначе видит пути ее развития. Да, ему не нравится нынешняя власть. А кому может нравиться (кроме тех, кто при этой власти), когда в магазинах становится все больше и больше пустых прилавков, а с трибун звучат победные реляции... Кому может нравиться бровастый генсек, который более всего любит себя... Если он просто высказывает свое мнение, он враг?.. Или ребята, которые встречаются вместе, но не нажираются до чертиков, а рассуждают о жизни, сочиняют стихи?

Дробышев выслушал молча, лицо его оставалось неподвижным, словно маска. Проводил по длинному и пустынному коридору до дежурного у входной двери, пожал на прощанье руку, гостеприимно приглашая позванивать и заглядывать, не стесняясь, в любое время и по любому поводу.

Он тогда в ответ только улыбнулся, слишком двусмысленно звучало это приглашение в неуютном сером, имеющем мрачную историю здании. Вышел и первым делом глубоко вдохнул весенний, пахнувший талым снегом воздух, а потом стал анализировать их разговор, запоздало понимая, что Дробышев уже не тот покладистый Васек, который по вечерам охотно бегал из общежития за Ангару в буфет железнодорожного вокзала за «Жигулевским» или вином и у которого можно было без проблем взять напрокат рубашку или туфли. Эти десять лет они жили

в разных измерениях, если не мирах. Для Дробышева это серое здание – дом родной, генсек – звезда путеводная, а он уже и не друг, и не однокурсник даже, а гражданин, находящийся под зорким оком организации, в которой дослужился до майора. И ребята из некоего тайного общества (по докладной усердного куратора, недавнего комсомольского активиста) являются не несмышлениками, продолжающими играть в детские игры на взрослый лад, но овцами, если не заблудшими, то уже ступившими не в ту сторону...

Жаль будет, если он по-дружески, растаяв от встречи, выболтал бывшему сокурснику, что не надо...

А ребята толковые. Не одесситы, конечно, которые так в свое время его поразили и, можно сказать, изменили его жизнь, но и не безмозгло-послушные, как большинство. Нынешнюю идеологическую мишуру на веру не берут, пытаются разобраться...

Он обвел их взглядом, все еще переключавших листочки со списком той литературы, которую им следует прочесть, чтобы наконец-то стать взрослыми. Хорошие лица, открытые... И некстати подумал: вполне может быть, что кто-то из них стучит на товарищей... Кто же?... Замечательный сюжет для рассказа, который никогда не опубликуют... Разве что самиздат... Или за границей...

Усмехнулся своим мыслям и стал вглядываться в явно озабоченные лица.

Саша Жовнер, самый авторитетный из них, хорошо пишет, ему надо журналистом быть, а не геологом... Когда познакомились, рассказал, что пришел в редакцию на втором курсе, было желание писать.

К четвертому курсу научился, почти в каждом номере газеты что-нибудь публикует. Он, понятно, вне подозрений – организатор этого общества, его душа, в случае чего, больше всех пострадает. Если, конечно, не талантливый провокатор.

Леша Золотников... Немногословный, улыбочивый, с романтическим взглядом, коренной сибиряк из Красноярского края... У Черникова остались в памяти звонкие и легкие строки из стихотворения, которое тот прочитал при первом знакомстве:

*Натали, Натали, мой свет,
лучшей жене —
право бала!
И кружится,
и кружит свет,
и кружится,
и кружит зала...*

Трудно поверить, что он может писать доносы...

Володя Качинский... Тот уже настоящий поэт, подборку его стихов Черников отнес в «молодежку», скоро должна выйти с его предисловием... Непоседливый, резкий в суждениях, любящий быть на виду... И почти земляк, забайкальский. Отец – директор школы в рабочем поселке. Начитанный, острый на словцо... Вряд ли он способен на подлость...

Баяр Согжитов... Нет, этот точно стучать не станет, мировоззрение не позволит...

Люся Миронова априори отпадает, она слишком большая идеалистка, чтобы жить двойной жизнью... Лена Ханова попроще, но тоже не тянет на секретного сотрудника...

Тем не менее, подробности о тайном обществе, что поведал ему Дробышев, мог знать только человек из этого круга...

Если и этот разговор станет известен в сером здании, сомнений, что это именно так, не останется...

Черников еще раз оглядел вопрошающие лица и решил пока ничего не говорить: брошенное семя подозрения, естественно, оттолкнет их друг от друга. И, возможно, испугает. Не всегда знание правды – благо...

– Так согласны учиться, учиться и еще раз учиться? – произнес он с пафосом и одновременно отвергая этот пафос ироничной улыбкой.

– Мы прочтем эти книги, – ответил за всех Жовнер.

– Только у нас в библиотеке таких не найти, – разумно заметил Баяр.

– Ну, кое-что у меня найдется, я принесу. А остальные ищите в университетской или областной... Я запрещенного ничего не рекомендую, – закончил Черников и окинул взглядом всех сразу, надеясь догадаться, кто же стучит, но, похоже, эта фраза никого не задела. – Только читайте вдумчиво, по этим книгам экзаменовывать вас будет жизнь...

Понял, что напрасно так сказал, на громкие фразы, похоже, у этого поколения иммунитет. И понятно, с малых лет слышали... Его поколению еще достались речи хоть и грубые порой, но не праздные, еще память о войне жива была, работы непочатый край, хрущевские прожекты и развенчивание культа отца всех народов... Проблемы его поколения шестидесятников нынешних ребят минули, они выросли в эпоху грандиозных социалистических строек и гигантских задач, успешно реализуемых авангардом рабочего класса, в котором он и сам по сей день еще пребывает, хотя вроде бы и пора уже давно по-честному сдать партбилет... Но чувствовал, да что там чувствовал – наверняка знал, что партбилет сегодня как раз является последним поплавком, который хоть и в притопленном состоянии, но еще поддерживает его на плаву.

Не будь оно, разве пристроил бы его Коростылев вот в эту многотиражку? Да и в конторе его однокурсника с ним, скорее всего, разговаривали бы не так... А там и двери редакций закрылись бы, в которых худо-бедно, но еще почти оклад на гонорарах и выкручивает, чтобы сберкнижку Петькину пополнять...

Ребята уже ушли, а он все сидел за столом, то о них думая, то размышляя о собственной жизни, которая разумной логике не поддается. Об этом и Дробышев не преминул сказать, которому все о нем известно, вплоть до отношений с Ниной (и про Галочку все знает).

Вот только про их отношения с Асей Зеленцовой, наверное, еще не донесли, хотя, может, он и не прав, две недели прошло...

Две недели назад он вдруг ни с того ни с сего напросился к ней в гости. Жила она в однокомнатной квартирке, в новом микрорайоне, бурно строившемся на мыске, выступающем в водохранилище, прозванном «на семи ветрах» из-за практически постоянного ветра, тянущего то с водохранилища, то к нему. Квартирка была кооперативной, Ася приобрела ее не без помощи родителей, все еще надеющихся, что это поможет устроить жизнь их ученой дочери. Но у Аси уже был опыт почти двухлетней семейной жизни с человеком, который за эти годы прошел путь от подающего большие надежды хирурга (из-за этих обоюдных надежд она тоже училась в аспирантуре, они и не завели в свое время ребенка) до законченного алкоголика. Теперь, по ее словам, он жил где-то в отдаленном районе, работал там в больнице, но уже не хирургом, а чуть ли не санитаром, продолжая пить, хотя пару раз и лечился в областном диспансере.

(Она даже приняла его после первого курса лечения и уже собралась забеременеть, два месяца он не пил, но не успела, он «развязал», и вот тогда она рассталась с ним окончательно.)

– Давай не будем о нем, – попросила Ася, когда они выпили за встречу, закусили и предались воспоминаниям, попутно восполняя пробелы познаний друг о друге.

И в свою очередь поинтересовалась его семейными делами, все еще считая, что он по-прежнему живет с Ниной, о которой она была наслышана от их общих знакомых еще в те давние годы. Московская жизнь Черникова, которую он расписал не столько реалистично, сколько иронично, произвела на нее впечатление. Называемые им имена известных людей, с которыми он общался, вызывали хотя и тихий, но с трудом скрываемый восторг, а имя Галочки, о которой он невзначай проговорился, породило откровенное женское любопытство. Но он не стал

даже на расстоянии из нее лепить идеал любимой женщины, наоборот, сказал, что она весьма неказиста и лицом, и фигурой, правда, добра и по-христиански беззлобна.

– А как женщина? – поинтересовалась Ася, допив вино и то ли от него, то ли от этого несвойственного ей вопроса, краснея.

– Как женщина? – переспросил Черников и задумался, потому что не знал, что ответить.

Их ночи запомнились ему больше разговорами или даже бурными диспутами в большей мере, чем любовными утехами, и теперь, попытавшись вспомнить Галочкино тело, он никак не мог четко представить самые привлекательные места в нем, понимая, что в свое время просто не обращал особо внимания, быстренько утолял свое желание, которое не столько радовало, сколько раздражало, потому что напоминало о низменности плоти.

Похоть собственной плоти он ощутил и сейчас, вдруг заметив в Асиных глазах нечто тайно-порочное, прочтя в них такой же животный, как и его ощущения, призыв и ничего не отвечая, перегнулся через стол, роняя по пути пустые фужеры, пригнул ладонью ее тонкую шею и впился в губы. Потом, еще более возбуждаясь от ее притаенно-ожидającego вздоха, подхватил на руки, пронес в комнату, опустил на узкий диван...

Пока Ася была в ванной, он разглядел ее комнату, по-женски безукоризненно чистенькую и одновременно нарочито привлекательную, с продуманными мелочами, явно рассчитанными на стороннего наблюдателя, гостя, и прежде всего на мужчину. Причем мужчину явно интеллигентного, потому что главным в комнате был книжный шкаф, в котором теснились, заманивая корешками с названиями и без, толстые и тонкие, помпезные и совсем простенькие книги. Было очевидно, что их не подбирали ни по цвету корешка, ни по оформлению, и они отнюдь не являлись декоративным украшением, а свидетельствовали прежде всего об интересах и пристрастиях хозяйки.

Тут Черников увидел (и даже полистал, хотя и так знал и прочитал все от корки до корки) несколько номеров «Нового мира» (он собрал весь комплект за годы, когда редактором был Твардовский, и теперь Галочка регулярно высылала ему посылки с необходимыми номерами журнала и с книгами, которых тоже в Москве осталось немало). Потом он раскрыл томик Хемингуэя, неожиданно обнаружил в нем «Праздник, который всегда с тобой» – отнюдь не женское чтение. Еще здесь стояли Ремарк и «Американская трагедия» Драйзера, подборка русской классики в мягком переплете, томики поэзии эпохальных, хотя уже и забываемых кумиров поэтических вечеров в Политехническом музее шестидесятых:

Ахмадулиной, Роберта Рождественского, Евтушенко, Вознесенского.

По министрам, по актерам

желтой пяткою своей

солнце жарит

полотером

по паркету из людей!

Пляж, пляж —

хоть стоймя, но все же ляжь.

Ноги, прелести творенья,

этажами — как поленья.

Уплотненность, как в аду.

Мир в трехтысячном году.

Карты, руки, клочья кожи, —

как же я тебя найду?

В середине зонт, похожий

на подводную звезду, —

8 спин, ног 8 пар.

Упоительный поп-арт!..

Эти начальные строки стихотворения Вознесенского запомнились (может, из-за их живописности), он любил декламировать их, наслаждаясь ритмом и смелостью поэта, сумевшего так ярко выразить эмоции. Он был уверен, что среди катушек, лежащих возле магнитофона, несомненно, найдется запись концерта Окуджавы и, наверное, некачественная запись Высоцкого, этого певца подворотен, которого он терпеть не мог, но вынужден был признавать его популярность...

А еще над диваном висел портрет ангелоподобного существа, в котором тем не менее можно было признать Есенина, и Черников догадался, что это и есть идеал уже немало хлебнувшей и потихоньку сходящей с ума от неисполненности своей женской доли бабы. Подумал, что если он сегодня зачал, она будет счастлива, обязательно родит и будет растить его ребенка, никого не слушая и ни на что не обращая внимания, совсем не претендуя на то, чтобы у того был отец.

Этот женский эгоизм, по твердому убеждению Черникова, и способствовал тому, что в обществе все больше и больше становилось одиноких матерей, а следовательно, и потенциальных малолетних преступников, потому что на одной ноге ходить, не хромя, невозможно...

Ася вернулась в комнату уже в домашнем халате, довольно коротком, и он, глядя на очень даже стройные ноги, выглядывающее из-за отворота белое налитое полушарие, соломенные распущенные волосы, рассыпанные по плечам, подумал, что если бы она прошла вот в таком виде по коридорам университета, у нее был бы немалый выбор. Даже среди совсем юных студентов...

– Ты меня презираешь? – спросила она, отводя глаза.

– Глупости, – отмахнулся Черников, все еще продолжая разглядывать корешки книг. – За что тебя презирать?

– Ну вот, уступила...

Он выпрямился, подошел к ней, положил руки на плечи. От нее пахло душистым мылом. Подумал, что, наверное, переспит с ней еще раз... А может, и нет...

– Мы – животные, отчего же стыдиться наших естественных потребностей?... Ты не уступала, мы обоюдно потерпели поражение от нашей плоти... Кстати, у тебя не опасный период?

Она помедлила, постигая смысл сказанного. Потом медленно произнесла:

– Нет... К тому же у меня... Сложно... С мужем мы одно время очень старались, не получалось... Я не из плодовых...

Она виновато улыбнулась.

– Придет срок, – знаяще пообещал Черников, направляясь в коридор, – и мужик хороший найдется, и дети будут, какие твои годы...

Стал одеваться, поглядывая в висящее возле двери овальное зеркало, находя себя вполне привлекательным мужчиной, с запоминающимся выражением лица (циничным, как отметила при первом откровенном разговоре Галочка).

– Ты не останешься? – поинтересовалась Ася, прислонившись к дверному косяку и напомнив ему этой выразительной позой Галочку (да и Нину тоже – позы прощания всех разочарованных женщин похожи).

– Пойду... Пресыщение в любом деянии чревато разочарованием...

Он махнул ей на прощанье и исчез за дверью...

...Сидя поздним вечером за редакторским столом, он вдруг все это вспомнил и тут же откровенно признался, что ничего необычного в подобных мысленных поллюциях нет: насмотрелся на впечатляющий бюст Химули (Лены Хановой) и восторженное личико Люси, вот и забродила плоть. В дореволюционные времена по подобному зову летели в санях да каретах мужики на зазывный свет красных фонарей, чтобы без сложностей и обязательств, без душевных переживаний ублажить эту самую плоть да вернуться к более серьезным делам. В праведном обществе, которое, по мнению власти, уже было почти возведено в стране, называющейся

Союзом Советских Социалистических Республик, подобных заведений быть не могло, быстро избавиться от желания не представлялось возможным, приходилось изодраться в лицемерии, усваивать уроки обольщения, отчего период гона растягивался на многие дни, а у некоторых самцов значительная часть жизни тратилась исключительно на это неплодотворное занятие...

У Черникова как-то даже была мысль написать эссе на эту тему, в котором разъяснить стоящим у руля, что наличие узаконенных публичных домов способствовало бы росту производительности труда, так как резко уменьшило бы время, тратящееся на флирт на рабочем месте или мучительные поиски противоположной особи для рядового совокупления.

Наброски эссе лежали где-то в черновиках.

Он вышел из кабинета, прошел по уже пустым коридорам, поднялся к трамвайной остановке, находящейся на косогоре, как раз напротив главного входа в институт, и в полупустом дребезжащем трамвае под негромкие, долетающие из кабины водителя слова:

*Когда мне невмочь,
пересилить беду,
когда подступает
отчаянье,
я в синий троллейбус
сажусь на ходу.
Последний, случайный... —*

покатил в центр, откуда на автобусе можно было доехать до дома Аси...

...Трамвай неторопливо, подолгу задерживаясь на остановках, докатил почти до середины моста через Ангару и встал. Водитель, круглолицая веснушчатая девушка, прогремев металлической дверью, вышла в вагон, сообщила, что нет тока.

— И долго не будет этого самого тока, красавица? — поинтересовался краснолицый мужчина, вошедший возле железнодорожного вокзала и лучащийся беззаботным весельем то ли от принятого в ресторане, то ли от долгожданной встречи-расставания.

Она улыбнулась и развела руками.

Подождав немного, мужчина и четверо говорливых подружек с передних сидений ушли в уже довольно теплый, предлетний вечер, а Черников и парочка влюбленных на заднем сиденье остались. Им, как и ему, некуда было спешить, только настроение у них было прямо противоположным. По доносившимся до него эмоциональному шепоту и звукам он без труда предположил, что там происходит, и воображать далее не стал, это было неинтересно. Другое дело — улыбчивая девушка-водитель. Она уже сходила к стоящему впереди вагону и, вернувшись, сообщила, что впереди, почти до конца моста, стоят еще трамваи, и пассажиры могут, если хотят, перейти в самый первый. Но парочка и Черников остались.

Девушка зашла в кабину, но дверь закрывать не стала, и вагон наполнился звуками инструментальной музыки, которые навевали какие-то смутные и приятные воспоминания, но Черников никак не мог вспомнить, где он слышал эту волнующе-знойную, словно оазис среди пустыни, мелодию... Может, этому мешал виднеющийся в кабине профиль девушки, такой трогательный и невинный, что он наконец не выдержал, прошел вперед, встал в проеме, поинтересовался, почему она выбрала такую профессию, и услышал в ответ то, о чем уже догадался: приехала из деревни, поступала, не прошла по баллам, пошла в трамвайное депо, потому что там сразу дают общежитие, была ученицей и вот теперь работает самостоятельно. Но летом опять будет поступать, только теперь не в медицинский, как хотела, а в институт народного хозяйства, потому что она впечатлительная и очень боится покойников...

Девушку звали Юлей, она вела дневник и даже пописывала стихи, в чем скоро призналась, смущенно пунцовея и радуя этим Черникова, который уже был почти в таком же настроении, как и сидящие на заднем сиденье влюбленные. Он стал ей читать стихи Ахмадулиной, Цветаевой, потом Евтушенко и наконец прочел длинную и слезливую асеевскую балладу, от

которой Юля совсем расчувствовалась и даже приникла к Черникову (влюбленные уже умчались в темноту), а он стал перебирать ее шелковистые волосы, вдыхая запах юного тела, почти вспомнив, где он слышал чарующую мелодию, и тут совсем некстати дали ток, трамваи впереди заскрежетали, переваливаясь по рельсам и скатываясь с моста, и Юля торопливо повернула рычаг, разгоняя медлительный вагон...

Черников доехал с ней до депо и потом до общежития, рассказывая о писателях, с которыми был знаком, читая стихи и удивляясь ее тонкому восприятию слова. Они расстались возле подъезда общежития, и она твердо пообещала показать ему свои стихи. Он продиктовал (она повторяла, пока не запомнила) рабочий телефон и сказал, что очень будет ждать ее звонка.

К Асе ехать уже не хотелось, он вернулся в свою комнату в общежитие и, сев за стол, стал писать рассказ о том, как юная чистая девочка Юля встречает в своей жизни циничного и много уже повидавшего взрослого мужчину и открывает неведомый тому мир...

Думал, на несколько месяцев задержится в Иркутске и отправится дальше, если не в самую столицу, то куда-нибудь поближе, откуда можно будет наведываться в столичные журналы да издательства, об этом сразу и Цыбина предупредил, и, само собой, Коростылева, чтобы не успокаивался, подыскивал ему замену, но время летело как-то стремительно. Незаметно минул зеленый май, отшумела сессия, корпуса института опустели, проводив кого на каникулы, кого в студенческие отряды, кого на практику. Преподаватели заторопились в свои отпуска. Цыбин укатил на Кавказ в санаторий, на прощанье посоветовав ему иногда появляться в редакции, чтобы не было ни у кого претензий (отпуск по закону ему еще не полагался, а делать было нечего, газета летом не выходила).

– Ты, Борис Иванович, пиши планы на будущее, – посоветовал он.

– Разные варианты, как доклады мы пишем... Вдумчиво, чтобы все политически выдержано было... А осенью мы на парткоме их утвердим...

Так и подмывало Черникова высказаться по поводу этой самой выдержанности, от которой на партийных собраниях тоска нападала и спать хотелось, но сдержался, не стал портить тому предотпускное настроение. Но и планы, естественно, никакие писать не стал, хотя в редакцию заходил даже чаще, чем надо было, чтобы завистники не донесли. В огромном пустом и непривычно тихом здании института на удивление легко писалось. И не только очерки и статьи в газеты, но и рассказы, которые он надеялся издать в каком-нибудь столичном издательстве.

А потом стал засиживаться с Юлей, готовить ее к вступительным экзаменам в университет, довольно быстро убедив, что ей нужно поступать именно туда, на журфак, потому что стихи она пишет отнюдь не графоманские, слово чувствует замечательно.

На всякий случай он выяснил, кто принимает экзамены, и не постеснялся зайти в горком партии к Коростылеву, чтобы он познакомил его с председателем приемной комиссии. Тот договорился о встрече по телефону, и Черников обстоятельно, упоминая авторитетные имена мэтров советской литературы и журналистики (хотя и сам уже был достаточно хорошо известен в здешнем профессиональном цеху), расписал молоджавому и гладко зачесанному блондину с маслянистыми глазами и раздражающе улыбчивым лицом таланты своей протекции, читая в глазах председателя приемной комиссии, что не он первый обращается с подобной просьбой, отчего Черников становился все настойчивее, намекая на наличие еще более влиятельных покровителей, уполномочивших его на этот разговор. И в конце пообещал явно растерявшемуся председателю самолично приложить все усилия, чтобы девочка подготовилась как следует и непременно стала бы студенткой.

Он действительно прилагал усилия. И не только словесные, получая истинное наслаждение от неопытных поцелуев и расслабляющей его по-детски бескорыстной ласки. Юля уже давно готова была уступить ему, но он оттягивал это мгновение, стараясь дочувствовать то,

что в своей молодости, увлеченный общественной деятельностью, не успел оценить по-настоящему, все куда-то спеша, торопя будущее...

Она сдала вступительные экзамены на четверки (хотя по сочинению они ожидали тройку, но председатель комиссии, видимо, хорошо запомнил ее фамилию) и была зачислена на первый курс факультета журналистики.

В день, когда это стало известно, солнечный августовский день, когда по набережной Ангары слонялись ошалевшие и еще не постигшие своего нового статуса бывшие абитуриенты, а точнее, в этот теплый, но уже с привкусом приближающихся холодов вечер, она на скрипящей кровати в его общежитской комнате стала женщиной. И, прижавшись к нему крепко-крепко, словно боясь, что после всего этого он может исчезнуть, долго слушала его размышления о жизни, об обществе, традициях декабристов, сохранившихся в этом на удивление культурном сибирском городе, о славной жизни целой плеяды революционеров, которые были сильны прежде всего своей идеологией, своей готовностью к поражению...

По-видимому, эта мысль пришла ему только что, и он стал ее развивать, все более и более загораюсь, забыв о Юле, не зная, что она совсем его не слышит, а лишь наблюдает за его губами, вслушивается в его голос, впитывает запах его тела, одним словом, постигает его присутствие в себе как предвестие новой жизни...

...Эта мысль о готовности поражения как основном нравственном факторе, позволяющем революционерам не ценить свою жизнь, приносить ее в жертву во имя идеи, крепла с каждым днем, и осенью, когда коридоры вновь заполнились студенческим многоголосьем, а повзрослевшие и изменившиеся члены тайного общества собрались на свое первое заседание, он предложил им эту тему разработать, написав исследование.

Идея эта вызвала интерес только у Саши Жовнера, который за лето ощутимо изменился после преддипломной практики, стал немногословен и таинственно задумчив, словно приобрел некий неведомый остальным опыт. Очевидно, что Баяру Согжитову с его буддийским мышлением революционеры были непонятны и неинтересны. Володя Качинский, загоревшись вначале, скоро остыл, торопясь похвастаться своими новыми стихами, которые на самом деле не свидетельствовали о творческом росте. Леша Золотников и Лена Ханова нашли летом свои половинки и теперь излучали полную отстраненность от окружающей их и в прошлом, и в настоящем, и в будущем суеты. Горячо откликнулась Люся Миронова, явно разделяя подобную идеологию, но она не писала ни стихов, ни прозы, а была самой внимательной слушательницей и чутким критиком произведений своих товарищей.

Осилить половину списка, который весной составил для них Черников, смогли только она и Баяр. Приблизился к ним Жовнер, который сказал, что больше прочесть у него не было возможности, в библиотеке поселка Кежда, где он был на практике, нужных книг не оказалось, о многих там даже не слышали. Золотников и Качинский застряли на первом десятке, а Ханова, похоже, даже не открыла и первую книгу (это был «Золотой осел» Апулея).

Тайное общество «Хвост Пегаса», судя по всему, ждала участь множества подобных, распавшихся, так и не созрев до спланиваемой и вдохновляющей идеи. (И до той же самой готовности к поражению.) Но Черников, хотя об этом и подумал, вслух говорить не стал, отметив для себя, что теперь будет работать индивидуально, по степени заинтересованности и понимания каждым усвоенного материала... Так, как он делал это с Юлей, дополняя ей учебный план своими рекомендациями.

Жовнер за изучение этого секретного оружия революционеров – готовности к поражению, которое позволило им в итоге свою идею (пусть и благодаря усилиям многих поколений) реализовать, взялся всерьез и уже в октябре принес первый очерк о Радищеве, в котором аргументированно доказывал, что именно неодолимый и прагматичный пессимизм и позволил Радищеву столь смело, без оглядки на цензуру изобразить то, что он видел, путешествуя из одной столицы в другую...

В начале ноября он принес еще один очерк, о петрашевцах, уделив в нем немалое место описанию деяний Федора Достоевского, чудом избежавшего смерти, сказал, что уже читает сочинения Чаадаева, этого изгоя русского светского общества девятнадцатого века, и все, что написано о нем его современниками.

Но этот очерк Черников уже читал не в редакционном кабинете и даже не в своей комнате в студенческом общежитии, а в комнате Юли, когда она с подругами ушла на занятия. На институтском отчетно-выборном комсомольском собрании он попросил слово и выступил перед делегатами самой большой студенческой организации в городе. Если коротко, суть выступления сводилась к следующему: пассивность и безразличие молодежи, которую он наблюдает, приводят к тому, что молодыми людьми, словно марионетками кукловоды, управляют большие дяди, сидящие в кабинетах и давно растерявшие революционный запал, большевистские традиции, изрядно подзабывшие, как выглядит идеал, во имя которого гибли деды и отцы. Каким же в недалеком будущем станет общество, которое строят прежде всего молодые?

– Я слушал отчет секретаря, хорошего парня, но абсолютно не способного вести за собой, выступления ваших товарищей и все надеялся, что услышу живое слово, дельное предложение, как нам изжить негативы, пассивность и безразличие. Но все как один старались угодить старшим товарищам, по-видимому, немало времени провели, готовя и выверяя варианты своих выступлений, приглаживая их так, чтобы никого не задеть. И прежде всего вот этих...

Он повернулся в сторону президиума, где в центре сидел ректор – широкий, с лицом-маской усталого трагика, блестя большими роговыми очками, скрывающими глаза. Рядом с ним, с каждым словом все более приподнимаясь на своем месте, возвышался так поразительно похожий на Горького после Капри, загоревший под южным курортным солнцем секретарь парткома. Готовый сорваться по первой же команде старших товарищей, занимал половину стула секретарь комитета комсомола, бледнолицый юноша с неприметным лицом, с которым Черникову пришлось общаться всего один раз, но и этого было достаточно, чтобы понять, насколько тот ограничен и послушен. И ему было жалко этого в общем-то безобидного парня и одновременно хотелось сказать о его неспособности руководить молодежью, в чем Черников, исходя из собственного, и как теперь было очевидно, серьезного опыта, не сомневался.

– В вашем возрасте или лишь немного постарше были в свое время те, кто вышел на Сенатскую площадь в декабрьском Петербурге.

Ваши сверстники готовили бомбы и устраивали акты возмездия против царских узурпаторов, не боясь каторги. Ваши деды в таком возрасте, как вы, и моложе сражались на фронтах гражданской войны, а отцы победили в Великой Отечественной. Им было не занимать смелости и понимания, за что они идут на смерть, во имя чего живут...

А что сделали вы?.. Я вас призываю: не мечите бисер перед... – он, не оглядываясь, протянул руку в сторону президиума и выдержал паузу.

– Берите власть в свои руки, управляйте институтом реально, как вы можете и хотите...

И сначала в гулкой тишине, а потом под яростные аплодисменты и даже под одобрительные выкрики, прошел на свое место в зале.

Бледнолицый юноша-секретарь тщетно призывал всех к порядку, но кто-то закончил фразу Черникова, подсказав, перед кем не стоит метать бисер, и это слово прокатилось по рядам, вызывая злорадный смех. Над президиумом возвысился секретарь парткома Цыбин, пророкотал неожиданно зычно, непререкаемо, вспомнив совсем недавнюю службу и всем своим видом показывая, что шутить не намерен и угроза об исключении из института за хулиганство будет осуществлена, и зал с недовольным гулом все же затих.

Цыбин произнес еще несколько зажигательных фраз, из которых следовало, что редактор их многотиражной газеты за время работы так толком и не сумел вникнуть в большие дела комсомольской организации, хотя, конечно, есть и недоработки, которые необходимо исправлять. Что же касается роли старших товарищей, то комсомол есть резерв партии, а партии

принадлежит руководящая роль, и если каждый новобранец будет делать что ему заблагорассудится, строя не будет, армии не будет, победы не будет...

Через два дня в кабинете Цыбина Черников писал заявление об увольнении с работы по собственному желанию и заявление о выходе из коммунистической партии «в связи с тем, что не может оказывать соответствующую финансовую поддержку и делать полноценные ежемесячные взносы по причине отсутствия постоянного места работы». Потом сдавал комнату коменданту общежития, выполнявшему строжайший приказ выдворить жильца в течение суток, получал расчет, что заняло совсем мало времени. Передавать дела вновь назначенному редактором Диме Лапшакову, ошарашенному стремительностью собственного карьерного взлета, его не заставили.

...Пока были деньги, пожил в гостинице, наслаждаясь ничегонеделанием и возможностью каждый вечер вкусно кормить Юлю и получать ее успокаивающие ласки. Когда деньги закончились, пошел к Коростылеву, но тот сказал, что после всего происшедшего («Кто тебя заставлял партбилет отдавать? О чем ты думал?..») ничем помочь не может, вот только если Желтков... У него вроде ушла в декрет учительница литературы в старших классах, недавно жаловался, что не может никого найти.

Черников пошел к Андрюше Желткову (еще одному бывшему однокурснику), вернее, теперь уже к Андрею Павловичу, кабинет которого ему показали шустрые пионеры, не умеющие преодолевать школьные коридоры шагом. В принципе, оно так и было, потому что раздавшегося не только в плечах, но и в талии некогда заводного и смешливого Андрюшу без отчества теперь было трудно представить. Он даже чем-то напомнил Черникову его директора школы. Может быть, пронизывающим и одновременно невидящим, давящим взглядом.

Желтков сразу принял Черникова за родителя кого-нибудь из провинившихся учеников и только после первых слов хлопнул себя по лбу.

– Ах да, Коростылев мне говорил, что ты в городе... Ну, рассказывай...

Черников сразу взял быка за рога, с каждой фразой выражение лица Желткова менялось и, наконец, приняло устойчиво озабоченный вид.

– Да, Боря, наломал ты дров... У меня двоечники и хулиганы и то меньше вытворяют... – он постучал толстыми пальцами по крышке стола и после паузы произнес уже ожидаемое Черниковым: – Если бы ты партбилет не сдал... А так, не могу... Разве что факультатив вести, но это, сам понимаешь, – гроши...

– Ясно...

Черников направился к выходу.

Желтков заторопился следом.

– Ты же понимаешь, первый проверяющий из горono – и мы с тобой оба полетим со своих мест...

– Я понимаю, – с улыбкой произнес Черников, стоя у двери. – Но я рад, что ты хотел помочь... А насчет факультатива подумаю.

– Надумаешь, приходи, – обрадованно произнес Желтков. – Уж тут-то я как-нибудь тебя прикрою...

В двух областных газетах на работу принимали редакторы. В партийной к Запятину, с которым у него отношения и так были не очень, к тому же тот был членом бюро обкома партии, а значит, просто не мог себе позволить совершить опрометчивый поступок, он не пошел, а вот к Жене Латышеву в «молодежку» заглянул. Тот, как всегда улыбчивый и не по-редакторски гостеприимный, напоил чаем, повосторгался его нашумевшим выступлением, поцокал языком по поводу выхода из партии и наконец предложил:

– Пиши под псевдонимом. И присылай письмами. А гонорар мы тебе будем перечислять на сберкнижку. Пока не догадаются, будем публиковать, а догадаются, так и я ни при чем, и ребята... Ну, выговор влепят за потерю бдительности...

И засмеялся.

Женя был хороший парень, но несерьезный. И тем более не революционер. Именно сейчас Черникову необходимо было, чтобы его читали, чтобы имя его не исчезло со страниц газет...

Он занял Черникову денег, сказав, что тот возвратит долг, когда сможет, еще попытался уговорить печататься под псевдонимом, получил нетвердое согласие и проводил до выхода из редакции, оживленно беседуя по пути, так что всем сотрудникам было очевидно, что Черников ни в какой не в опале, и с ним общаться можно.

Самым лучшим вариантом было бы уехать из Иркутска. Но он еще тосковал по Юлиным нелепым вопросам и искреннему восторгу при виде его, и он позвонил Дробышеву.

Дробышев встретился с ним на улице.

Они погуляли по-над незамерзающей, но обметанной льдистой кромкой Ангарой, и из приятельского разговора Черников понял, что и присылаемые ему из Москвы книги (среди которых были не рекомендуемые для прочтения и изъятые из общественных библиотек), и его опека тайного студенческого общества (все-таки есть стукач!), и выступление на конференции, и, наконец, выход из партии сложились в один логический ряд его диссидентства, когда речь идет уже не только о том, что ему не место в идеологических органах, но и в обществе...

– Загнал ты себя, Боря, в угол. И напрасно... – негромко говорил Дробышев, окидывая внимательным взглядом редких прохожих. – Кое-что в нашем обществе не соответствует идеалам, но в этом виноваты конкретные люди. Указал бы этого конкретного старшего товарища, покритиковал бы того же Цыбина, все было бы замечательно.

А ты огульно, на всех сразу...

– Вася, давай не будем устраивать диспут. Подскажи, что делать, тебе со своей колокольни далеко видеть...

– Перспектив никаких, – жестко произнес тот. – Еще что-нибудь подобное выкинешь, пойдешь декабристскими тропами... Уезжай куда-нибудь...

– Не могу...

– Девочка держит? – хмыкнул он.

– И об этом знаете...

– Работа такая... Но ведь не жена, можешь и оставить...

– Считай, жена, – вдруг брякнул Черников. – Вот только Нина развод даст...

– В таком случае... – Дробышев подумал. – Устройся куда-нибудь слесарем, что ли...

– Какой из меня слесарь...

– Дворником, сантехником... Кем угодно, только чтобы не слышно и не видно было. Пока все забудется...

– Дворником?.. Слушай, а в твоём ведомстве на эту должность вакансий нет?

– Пошел ты к черту... Нашел время шутить... Между прочим, дворник жильем обеспечивается...

– Это я знаю...

– Ну так и подумай, я тебе угол не выделю... Тем более с молодой женой... На мели?.. – Дробышев стянул перчатку, достал из внутреннего кармана бумажник, отсчитал несколько купюр. – Возьми на первое время.

– Не знаю, когда верну, – помедлил Черников.

– Когда будут, тогда и вернешь, – сказал тот. – И все-таки, я бы советовал тебе уехать.

Они пожали друг другу руки и разошлись...

Черников шел по снежному городу в общежитие, где спал на полу между четырьмя кроватями, и все более понимал, что Дробышев прав, ему действительно нужно уезжать. Пока только из этого города. Подумал, что вот так же, вероятно, обкладывали Александра Солжени-

цына, Виктора Некрасова, Георгия Вадимова... Только у него еще множество городов в этой стране, а у них была открыта лишь одна дверь...

И оттого, что он попадает в этот почетный для мыслящих людей ряд, настроение улучшилось. Страшно не хотелось чувствовать себя чужим в маленькой комнате, отворачиваться от переодевающихся Юлиных подружек, засыпать под их шепот, придерживая рукой опущенную Юлину ладонь и преодолевая желание непокорной плоти.

И он поехал к Асе.

Хотел просто выговориться и выспаться (а может быть, и проверить, не забеременела ли?), но опять они уступили плоти, и на этот раз он заснул с ней рядом на диване, договорившись, что некоторое время поживет у нее (чему она удивилась, но не обрадовалась).

Днем в университете он нашел Юлю, сказал ей, что ночевал у товарища и что на некоторое время уедет из города. Оставил ее растерянной и чуть не плачущей и пошел по городу, читая разные объявления.

Через пару дней он нашел место истопника в котельной, которое позволяло работать через двое суток на трети (значит, будет время писать) и в перспективе светила служебная комнатка в старинном двухэтажном деревянном доме, как только оттуда выдворят предыдущего, спившегося кочегара.

Через пару недель того действительно выдворили на принудительное лечение, и он получил ключи. Последний раз предался связи со ставшей чересчур активной Асей (похоже, она действительно решила завести от него ребенка), пообещал ей не забывать, заглядывать, пока она не найдет себе постоянного сожителя, и занял пропахшую сивухой и табачным дымом комнату.

Пару дней выносил из нее мусор, драил, чистил и отмывал, потом раздобыл в комиссии-онке большую двухспальную кровать, колченогий стол, пару табуреток и перевез туда Юлю с ее немногочисленным скарбом и учебниками.

Уроки истории

В безмятежную и вполне счастливую жизнь Жовнера Черников ворвался гостем непрощеным, подобно лисе, впущенной в сказочную избушку неискушенным обитателем. Только избушкой этой было не строение, а накопленный Сашкой опыт и знания, которые в одночасье чужим суждением обидно обесценились.

Самоуверенность непризнанного писателя, не сумевшего устроиться в Москве, раздражала. Он мысленно посылал новоявленного учителя куда подальше, а с ребятами смеялся над его манерой поучать, над неглажеными брюками и застиранными рубашками, но отдавал отчет, что замечания, которые тот делал, редактируя его статьи, репортажи, очерки, были точны. Список книг, которые Черников им порекомендовал прочесть, почти полностью был ему незнаком, и даже в областной библиотеке он нашел далеко не все из него.

Сначала, исключительно из желания противостоять оскорбительным замечаниям об их инфантильности, а потом незаметно втянувшись, он стал запоем читать книги из этого списка, порой захватывающие и интересные, порой – непонятные и скучные.

Предложение проанализировать внутренний мир революционеров, найти подтверждение тому, что в основе их преданности идеи лежит готовность к поражению, показавшееся сначала довольно банальной задачей, вдруг захватило, открыв совершенно неведомый ему прежде пласт знаний. Этому его не учили ни в школе, ни на успешно сданных (и столь же успешно забытых) курсах истории КПСС, исторического материализма и научного коммунизма. И чем больше Сашка читал, тем больше понимал, что его представления об обществе, стране, в которой он живет, действительно примитивны и все еще остаются на уровне восприятия жизни ребенком, когда мир уютен, вечен и незыблем, потому что он закрыт от неприятностей и разочарований родителями, родными и близкими людьми, учителями, просто взрослыми, и единственное, что в нем является главным, – это любовь.

Он так и жил все эти годы до встречи с Черниковым постоянно влюбляясь, разочаровываясь и снова надеясь встретить настоящую любовь... И даже дневник стал вести, описывая свои переживания.

Может, поэтому набрался на втором курсе смелости и заглянул в редакцию, где его встретила Галина Максимовна, смешливая и уютная, совсем не похожая на редактора газеты. Она поняла его, поверила, неожиданно поручила взять интервью у декана. Сашка тогда долго стоял возле кабинета, преодолевая детский страх, но все-таки вошел...

Теперь об этом смешно и вспоминать, столько после первого интервью было встреч с людьми занятыми и известными. К тому же и публикации были в областных газетах, и в «молодежке» его хорошо знали. На факультете давно считали, что настоящего геолога из него не получится, хотя учился он неплохо.

При Галине Максимовне и появился «Хвост Пегаса», она сама с удовольствием с ними по вечерам спорила о сути творчества. Ей однажды принес Сашка и свой первый рассказ о том, как в зимнем лесу на лыжне встретились он и она... Совершенно неожиданно Галина Максимовна поставила рассказ в газету, и Лариска Шепетова (мнением которой он дорожил, помня ее рассуждения о стене между мужчиной и женщиной) даже польстила ему, обозвав писателем. И сказала, что Ольге Беловой рассказ тоже понравился, но только она удивилась, почему объяснение происходило в зимнем лесу, а не на берегу Байкала. Он догадался, что это было и признание, что та помнит их безумный вечер на первом курсе, и предложение повторить его. Он велел передать Ольге, что в следующем рассказе допущенную неточность устранил, вложив в эту фразу и второй смысл, но реализовать его так и не смог: встретившаяся ему как-то в коридоре Оля показалась какой-то невзрачной, неинтересной, и он не подошел к ней.

И еще: тогда он понял силу печатного слова...

Но рассказов больше не придумывалось, поэтому он охотно писал для газеты все, что требовалось.

При Галине Максимовне его материалы проходили практически без правки. Черников первую же статью исчеркал всю, оставив пару абзацев и сделав из нее информацию.

– Учись писать так, чтобы словам было тесно, а мыслям просторно, – изрек он истину и уже от себя добавил: – Не загромождай текст прилагательными и прочими красотами, передай главное – емко и понятно... Люби глаголы.

Любить глаголы получалось плохо.

При Черникове он стал писать в газету меньше, ссылаясь на занятость, очерк о Радищеве перечитывал много раз, избавляясь от прилагательных, прежде чем показал редактору. Черников сделал совсем немного правки и поставил в номер.

После выхода газеты Сашка целый день наблюдал, как ее разбирают с подоконника напротив редакции, потом еще пару дней ждал, что кто-нибудь из знакомых оценит вышедший очерк, но так и не дождался. И не понял, читал его очерк кто-нибудь или нет, хотя Борис Иванович сказал, что он был отмечен журналистами «молодежки», а в университете его даже обсуждали на занятии студенты журфака...

Прочитанные книги, рассказывающие о перипетиях истории и общества, заставили по-новому взглянуть на то, что его окружало. Привычно невоспринимаемые ежедневные новости о трудовых свершениях стали раздражать. Лозунги и победные реляции на фоне очевидно пустеющих прилавков и растущих очередей за колбасой и другими продуктами вызвали ироничную усмешку. Ему все более казалось, что в государстве, в обществе что-то не так. Что декларируемая с трибун правда на самом деле и не правда, и, как в детстве взрослые скрывают от детей свои тайны, так и те, кто управляет страной, скрывают неведомые большинству и важные тайны от народа.

Прежде он не задумывался, почему песни Высоцкого повально переписывают друг у друга, а пластинки с его записями не выходят.

Как не достать и композиций «Битлов». И книг Сергея Есенина он не мог найти. И повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» он прочитал в «Новом мире», который ему дал Черников. («Больше теперь нигде не найдешь, Александр Исаевич нынче за границей, так что, считай, запрещенное читаешь...») А еще, оказывается, был такой писатель – Георгий Вадимов, который писал о трудовых буднях совсем не так, как большинство известных авторов, и его «Большую руду» он прочитал в один присест...

Простой мир вокруг Сашки неожиданно разбился на великое множество неодинаковых и порой даже противоречивых мирков и стал таким сложным, что он растерялся, потерял интерес к общественной работе (он был членом комитета комсомола института), к спорам в тайном обществе, даже к Маше Панкратовой, студентке химического факультета, с которой они познакомились в одном из туристических походов и теперь бурно и серьезно (он уже познакомился с ее родителями, живущими в Ангарске) дружили.

Попробовал поговорить на эту тему с Аркашей Распадиным, заглянув как-то в воскресенье к нему в гости, но тот был озабочен приближающейся свадьбой с Ритой. С Курейки, где теперь жили и его родители, срочно прилетела тетя Шура, Аркашина мама, и пока они пили кофе, она все суежилась по дому, находя занятие всем, включая занемогшего деда Филиппа, хотя свадьба была только через неделю.

Она передала Сашке посылку от родителей (пару белых рубашек с рюшечками и жабо), извинившись, что никак не могла сделать это раньше, сказала, что новостей у его родных нет, все ударно трудятся. А главной новостью, которую они с Аркашей даже пообсуждали, была та, что в поселке теперь живет их бывший одноклассник Колька Белкин. И работает в школе физруком. Приехал он с женой, которая старше лет на десять, с чужим ребенком. А директором

школы стала Татьяна Ивановна Григорьева, их любимая физичка ТанечкаВанечка... У нее уже двое пацанов, Григорий Григорьевич заведует столовой, стал важным и в два раза ее толще.

Все это тетя Шура выпалила даже не присаживаясь и тут же напомнила Аркаше, что тот еще должен позвонить Рите. (Та, оказывается, уехала перед свадьбой к родителям в Улан-Удэ.)

Они вместе вышли на улицу, Сашка проводил Аркашу до переговорного пункта, и здесь, пока тот ждал соединения, немного поговорили.

Аркаша сказал, что так и не понял, любит он Риту или нет. Просто в начале лета она отдалась ему, стали вместе спать, а тут вот получилось, что забеременела...

– Ничего, после пятого курса в армию пойду, – сказал Аркаша.

– Не возьмут, – попытался успокоить его Сашка. – Маленький ребенок будет...

– А я сам хочу. Два года офицером, чем плохо...

– Смотря куда попадешь, – сказал Сашка, вспомнив, как перед весенней сессией в общежитии появились выпускники прошлого года, служившие в Монголии. В военной форме, с деньгами, совсем не похожие на тех пацанов, которые всего год назад разгуливали по общежитию. Недельку лейтенанты весело отдыхали, живя с двумя подругами не очень строгого поведения, щедро угощая всех знакомых. – В Монголии офицерские оклады неплохие...

– Не догулял я, – вздохнул Аркаша, откровенно разглядывая длинноногую девушку с кудряшками, стоящую напротив и тоже поглядывающую в их сторону. – Видал, какая краля...

– Ты уже почти папаша, – усмехнулся Сашка, – так что оставь ее мне...

– Нет уж, зависть съест, пусть одна уходит...

Сашка все же попытался ему высказать свои соображения по поводу нынешней жизни, но тот явно не был настроен на серьезный разговор, и они расстались.

Он засел писать о петрашевцах, мыслей становилось все больше и больше, ими он поделился на очередном заседании «Хвоста Пегаса», прочитав отрывок из начатого очерка.

В «Хвосте Пегаса» идею готовности к поражению как главный нравственный фактор мотивации поступков разделила с ним только Люся Миронова. Володя Качинский вначале тоже было поддержал, но потом заспорил с Люсей и стал убеждать ее, что это очевидная чушь, а двигало революционерами исключительно желание прославиться, остаться в истории, чтобы потом такие вот, как они, придумывали по этому поводу всякую чушь... В этом споре они наговорили друг другу кучу лицемерных комплиментов (напрочь забыв, с чего он начался), и очевидно было, что Володю интересует не истина, а то, что он может пообщаться с нравящейся ему Мироновой... Леши Золотникова и Лены Хановой не было, а Баяр Согжитов просидел весь вечер молча, загадочно улыбаясь, а потом прочитал свое стихотворение, написанное верлибром, о том, что все в этом мире, кроме природы, не заслуживает внимания человеческой мысли...

Было очевидно, что они все больше и больше расходятся по своим дорогам.

Выступление Черникова на конференции Сашка (он уже учился на пятом курсе и измерял новый статус инженера) воспринял с восторгом, бурно ему аплодировал и даже что-то выкрикивал по поводу свиней в президиуме. Ему не терпелось тут же взяться за перестройку рутинной заорганизованной работы институтского комитета комсомола, в котором царили скука и бумажная волокита, поэтому, кроме приторно-тихого и чинного Замшеева, в большом кабинете редко можно было кого-нибудь застать. А еще он вместе с другими кричал о свободе высказываний, критики, о сдерживаемой инициативе и бюрократии в комсомоле и призывал все менять. Но Замшеева, правда, уже не единогласно, но подавляющим большинством голосов, переизбрали. Он пообещал учесть все замечания и критику, и первые два дня после конференции действительно спрашивал у всех членов комитета их предложения по усовершенствованию работы (Сашка много всего предложил по изменению работы редколлегий стенной печати, за которую он отвечал), но эти предложения, подшитые в папку, канули неведь куда, и скоро все вошло в обычное неспешное, загруженное заседаниями и совещаниями русло...

Через пару недель Замшеев пригласил Сашку срочно зайти в комитет комсомола. В кабинете помимо него был невысокий плотный мужчина, незначительно старше Сашки, но с непронацаемо серьезным выражением лица.

– Игорь Игоревич Барышников, наш куратор из комитета государственной безопасности. Хочет с тобой побеседовать, – произнес он, настороженно глядя на Жовнера, заведомо допуская, что тот может стать предметом непредвиденных неприятностей, и оттого непроизвольно суровая лицом.

– Интересно познакомиться с молодым человеком активной жизненной позиции. К тому же часто выступающим в газете с серьезными статьями, – произнес тот, изображая дружелюбную улыбку.

– Мне выйти? – услужливо предложил Замшеев.

– Не нужно, мы пойдем ко мне...

Барышников пропустил Жовнера вперед, уверенно рассекая поток студентов, повел по коридорам в другой корпус, где на втором этаже открыл угловую неприметную дверь, пропустил его в комнату, в которой стоял стол, два стула по обе стороны, на столе – настольная лампа с металлическим полушарием плафона, а вторая половина комнаты была отделена черной тяжелой занавесью.

– Присаживайся, Александр Иванович, – уже без улыбки предложил Барышников, опускаясь на стул за столом и пристально глядя на Сашку, словно ожидая услышать что-то очень важное.

Сашка сел, еще раз обвел взглядом комнату, но разглядывать было нечего: голые стены, даже без наглядной агитации. Он выжидающе взглянул на Барышникова.

– Ну, как ваш «Хвост Пегаса» поживает? – спросил тот.

– Какой... «Хвост Пегаса»? – Сашка поперхнулся.

– Чему Борис Иванович научил за это время?.. Интересные, наверное, книжки давал почитать... Да и рассказывал много всего, он мастак рассказывать, повидал немало...

– А вы его знаете? – растерянно произнес Сашка, все еще пытаясь понять, откуда тому известно об их тайном обществе.

– Я все и про всех знаю, – не без гордости произнес тот и не сдержал снисходительную улыбку. Откинулся на стуле, спинка которого неприятно проскрипела.

– Например, то, что у Федора Михайловича Достоевского готовности к поражению было меньше, чем у других петрашевцев, отчего он не стал профессиональным революционером... А может, так даже к лучшему...

Сашка опустил глаза, догадываясь, что разговор его ждет не совсем приятный. И Барышников не стал дальше строить из себя добродушного следователя.

– Как комсомолец, член комитета комсомола, ты должен хорошо понимать, что есть пределы критики, за которыми уже получается не критика, а чистейшее критиканство и буржуазная демагогия. И есть пределы дозволенных поступков, за которыми следует ответственность согласно законам государства. Я хорошо осведомлен о деятельности и вашего тайного общества, и каждого из вас. Никто не запрещает вам собираться, спорить, читать стихи или рассказы. Но ты уже взрослый человек и должен понимать, что порой выскочившее некстати слово может быть неверно понято другими и даже направить их в другую сторону... Ты слышал, как Борис Иванович Черников выступил на комсомольской конференции... Он предложил что-нибудь конструктивное, навел справедливую критику?.. – Барышников выдержал многозначительную паузу. – Нет, он ввел в заблуждение делегатов, исказил факты, а некоторые этого не поняли, поверив взрослому человеку, редактору газеты...

Я знаю, что ты с ним встречаешься. Я должен знать, о чем вы беседуете, кто еще общается с ним, какие книги он читает, что пишет?.. Не стесняйся, бери у него почитать, приноси мне, вместе обсудим... И вообще, заглядывай... Хотя бы раз в две недели... В этот кабинет. К

примеру, по четвергам, часа в два... У вас ведь в этот день занятия рано заканчиваются, – продемонстрировал он свою осведомленность.

– Да, рано, – после паузы неуверенно отозвался Сашка, до конца не понимая, о чем это говорит Барышников.

– Вот и славненько... – тот поднялся. – А если нужно будет срочно меня найти, можно это сделать через Замшеева... Ну, так до встречи... – он шагнул к двери, повернул задвижку, приоткрыл. – До встречи...

Через пару недель.

Дверь бесшумно закрылась.

Жовнер пошел по коридору, лавируя между торопящимися студентами, отводя глаза, словно только что совершил нечто постыдное...

...Несколько дней он ходил сам не свой, желая с кем-нибудь поделиться происшедшим и понимая, что этого делать нельзя. Наконец, решил, что расскажет обо всем Черникову, но тот куда-то исчез. Качинский сказал, что, вероятнее всего, уехал в Москву. Сашка чуть было не проболтался ему о своем разговоре с кэгэбэшником, но промолчал.

Стараясь забыть эту встречу, он засел за сочинения Чаадаева, героя следующего своего очерка, не очень веря, что Дима Лапшаков, ставший редактором, решится опубликовать еще не вышедший очерк о петрашевцах. Но тот поставил в номер. Очерк на этот раз очень внимательно, с красным карандашом, прочел Замшеев. И отметил на очередном заседании комитета комсомола, что отдавать газетную страницу под подобные темы, когда речь не идет о юбилеях, не совсем целесообразно, в комсомольской организации немало животрепещущих проблем, требующих освещения. Он поручил члену комитета Жовнеру подготовить статью о состоянии наглядной агитации на факультетах.

Лапшаков в свою очередь поручил Жовнеру срочно подготовить материал о научно-исследовательской работе студентов машиностроительного факультета.

Пока Сашка выполнял эти два задания, пролетели три недели. К Барышникову он не ходил, да и о разговоре забыл. Но спустя еще несколько дней его вдруг срочно вызвали в партком, и секретарша Цыбина тут же пропустила в кабинет за массивной, обитой черной кожей дверь.

В кабинете за узким длинным столом напротив друг друга сидели секретарь парткома и Барышников.

Цыбин приглашающе указал рукой на стоящий в стороне стул.

– Садись, Жовнер... Как у нас там с очередным номером?

– Дмитрий занимается...

– Ты ему помогай, – по-отечески произнес Цыбин. – У него опыта мало, а ты в институте все знаешь... Черников тебя хвалил... Кстати, давно его видел?

– Давно, – ответил Сашка. И добавил: – Говорят, он уехал в Москву.

И взглянул в сторону Барышникова, словно объясняя, почему не пришел, и освобождаясь от этой обязанности в дальнейшем.

– Вот ведь, талантливый человек, не подумал как следует, а слово – не воробей...

Цыбин встал, обошел массивный стол, опустился в свое кресло, откинулся, положив на блестящую поверхность длинные волосатые руки.

– Заблудился Борис Иванович... В трех соснах заблудился...

Он помолчал, потирая крупными пальцами коричневую поверхность стола.

– А почему ты у нас в партию не вступаешь? – вдруг спросил. – Активный комсомолец, член комитета комсомола, корреспондент...

Вот мы тут с Игорем Игоревичем об этом говорили...

– Я как-то не задумывался... – неуверенно отозвался Сашка.

– Не разделяешь идеи партии? – вкрадчиво поинтересовался Барышников.

– Почему же...

Сашка запнулся.

– Да он их еще не знает, – пришел на помощь Цыбин. – Вот устав проштудирует, программу изучит, тогда разберется...

– Главное, чтобы не заблудился, как Черников... в соснах... – произнес Барышников и окинул Жовнера цепким взглядом. – А так в принципе парень вроде неплохой, общественник... Признаться, я даже не сомневался, что он уже проходит кандидатский стаж... – лицемерно добавил он.

– У нас на факультетах очередь, по разнарядке райкома принимаем, – вздохнул Цыбин. – Активистов хватает, а лимит маленький...

– и, глядя на Сашку, уже строго произнес: – Ты вот что, Жовнер, Игорю Игоревичу помоги разобраться, что в редакции происходит... У него служба такая, незаметная, а очень нужная. Ты, как будущий член партии, должен это понимать.

– А чем помочь?.. Черников уехал... – сказал Сашка и посмотрел на Цыбина.

– Я не знаю, какие у вас там разговоры были, – отмахнулся тот. – Это вы уж с Игорем Игоревичем определяйтесь. А я вот буду думать, как тебя вне очереди в кандидаты принять.

– Я еще не готов, – торопливо произнес Жовнер.

– Что значит, не готов?.. Как так?

Цыбин даже подался вперед, непонимающе уставился на Сашку.

– Первоисточники не все прочел, – торопливо пояснил Сашка. – Хочу всего Ленина прочитать, Маркса... Я когда начал революционное движение в России изучать, понял, что очень многого не знаю...

– Ленина прочитать... – Цыбин хмыкнул, взглянул на Барышникова. – Шустрая молодежь пошла, – и перевел взгляд на Жовнера. – Да Владимира Ильича всю жизнь надо изучать. В любом возрасте. Вон они у меня, – он прошел к большому книжному шкафу, заставленному одинаковыми томами с золотым тиснением на корешках. – Полное собрание сочинений... Каждый день обращаюсь то к одной работе, то к другой, – он вытащил из стройного ряда том, раскрыл... – Вот пожалуйста, «Шаг вперед, два шага назад»... – помолчал, разглядывая страницу, потом аккуратно поставил томик на место, закрыл стеклянные створки. – Так что изучи основное, что сейчас тебе пригодиться может, что в учебном процессе предусмотрено, и достаточно... А о революционном движении знать надо, конечно, и очерки у тебя хорошие получились, – неожиданно похвалил Цыбин, – грамотные... – выжидающе посмотрел на Барышникова и закончил: – Но на сегодня не это главное, я уже Лапшакова на этот счет сориентировал...

– Мы с Александром пойдем, – поднялся Барышников. – Я с ним, пожалуй, соглашусь, пусть он еще первоисточники перечитает, которые уже изучал, там много ответов на свои вопросы найдет...

Он придержал Жовнера, давая понять, что разговор еще не закончен, попрощался с Цыбиным и, выйдя в приемную, негромко произнес:

– На следующей неделе, как и договаривались, в четверг зайдешь ко мне...

И задержался, любезничая с расплывшейся в улыбке секретаршей Цыбина.

...Следующая неделя закрутила в предсессионных заботах (отчет по преддипломной практике руководителю показался слишком маленьким, пришлось срочно расписывать еще на десяток страниц), усложнившихся отношениях с Машей (она считала, что он ее не замечает), в редакционных заданиях, которыми его загрузил Лапшаков, да в беготне по факультетам (уже по заданию Замшеева), где он должен был оказать помощь редколлегиям стенгазет. О Барышникове он вспоминал лишь когда пробегал мимо неприметного кабинета в одном из корпусов, и тогда это воспоминание вызывало неприятное чувство, но скоро забывалось, поэтому он ни на какую встречу не пошел, да и, признаться, забыл о ней. Вспомнил уже на следующей

неделе (опять же только потому, что проходил мимо кабинета Барышникова), решил, что если он понадобится, тот сам найдет, и совсем перестал об этом думать.

Вдруг за пару дней написал рассказ, первые строки которого родились в читальном зале после нудных расчетов прочности вышки при ликвидации прихвата (последний штрих в отчет). Герой рассказа, который был немного старше самого Сашки, жил в старом доме, стоящем над берегом реки (недалеко от Байкала), с молодой женой. Он был странно пассивен и одновременно чуток к жизни, потому что только он один слышал, как по ночам дом скрипел...

Финал получился совершенно неожиданным даже для Сашки, его герой просто исчез, хотя можно было предположить, что он утонул... Или ушел невесть куда...

Ему самому сочиненное понравилось. Не терпелось кому-нибудь прочитать рассказ, но тайное общество уже давно не собиралось, у его членов наступила горячая пора, Дима Лапшаков был суетливо озабочен, ничего не слышал и никого не видел. Соседи по комнате, которым он попытался читать, через пару страниц явно заскучали, и он просто пересказал им сюжет. Миша Кужиков сказал, что история скучноватая, и убежал к своей очередной пассиве. Витя Иванов попросил почитать все, но Сашка сказал, что читать не станет, а даст, когда перепечатает.

Теперь он по вечерам мучительно, двумя пальцами, пытался напечатать рассказ на редакционной пишущей машинке, а днем подчищал хвосты, сдавал зачеты, спорил с доцентом Гавриловым, который не соглашался с некоторыми выводами его преддипломного отчета. И еще обсуждал в туристическом клубе планы на зимний лыжный поход в Саяны, куда они собирались сходить вместе с Машей сразу после сессии.

За неделю он рассказ напечатал, еще раз прочел сам, тот ему понравился, опять захотелось услышать чье-нибудь мнение, попытался собрать «Хвост Пегаса», но не получилось. Случайно в коридоре столкнулся с Лариской Шепетовой (она вышла замуж, жила теперь в городе и стала хоть и не очень симпатичной, но весьма фигуристой взрослой дамой). Лариска встрече искренне обрадовалась, сама предложила зайти куда-нибудь в кафе поболтать, потому что не видела никого «из приятных ей людей» тысячу лет, и они зашли в ближайшее кафе. По пути выяснилось, что она перешла на заочное отделение, живет теперь в Новосибирске и там действительно вышла замуж за профессора, доктора наук.

– Он у меня старичок, но еще бодренький, – весело сообщила она, потягивая вино. – Вдовец. Светило науки. Дети, правда, постарше меня, но ничего, подружились...

Оказывается, она познакомилась со своим старичком этим летом, он прилетал к ним в экспедицию навестить сына, который был главным инженером.

– У нас с ним, с сыном, как раз романчик намечился, а тут папа объявился... – со смешком призналась она. – Папа мне сразу понравился. Уютный старичок, умненький... У вас, мальчиков, только одно на уме, ты же знаешь, – сказала она и, отставив в сторону зажатую между пальцами с длинными наманикюренными ногтями сигарету, подалась вперед, почти воткнувшись в него высокой упругой грудью.

– А у папы обхождение, внимание, ухаживание, подарки... Нет, любовь, Сашенька, это не телесные утехы, это нечто душевное и тонкое...

Она нравоучительно подняла палец и, вздохнув, выпустила дым, обвела взглядом полупустой зал, сортируя мужчин, торопливо жующих, вальяжно потягивающих коньяк, занятых своими дамами или же одиноко и сосредоточенно опрокидывающих рюмки. Проницательно заметила:

– Ты, похоже, этого еще не знаешь...

– Ларис, тебе в гадалки идти надо...

– А, все это так... – она вдруг помрачнела и старательно придавила окурок в пепельнице. – Давай выпьем за нас. Чтобы все у нас было хорошо...

– Ну, у тебя-то...

– У меня, можно сказать, промежуточный этап, – она пододвинула пустой бокал, нраво-учительно произнесла: – Угадывай желание женщины, Сашенька...

Он суетливо налил ей и себе, а когда поднял бокал, уже знал, что квартира у старичка из пяти комнат, денег много, и она ни в чем не знает нужды, даже вроде заканчивать институт совсем ни к чему, но все же закончит и будет работать – не хочет ни на чьей шее сидеть.

– Старичок-то мой квартиру на меня переоформил, хотел и остальное – дачу, «Волгу», да я остановила, – зачем с его детьми ссориться. Коленька, тот, правда, сам по себе живет, ему все равно, а вот дочка, Анастасия, не любит меня, все боится, что после смерти папеньки ей ничего не достанется.

– Сколько же старичку-то?

– Ой, Сашенька, нам не дожить... Почти семьдесят...

– И что же, – не удержался Сашка, – дети будут?

– Да о чем ты? – она даже руками всплеснула. – Мне бы за ним приглядеть... – И неожиданно призналась: – Я ведь жалостливая... Я и с мужчинами больше из жалости сплю...

– А хочешь, я тебе рассказ прочту? – вдруг предложил он.

– Какой рассказ?... – она пронзила его взглядом темных, непонятного цвета глаз. – А, поняла... Прочитай, – неожиданно согласилась.

Он достал из портфеля рукопись, находящуюся в отдельном отсеке, чтобы не спутать с курсовыми и конспектами, и, подсев поближе, стал негромко читать. На второй странице она пододвинула листки к себе, сказала, что прочтет сама, и они уже молча, тесно прижавшись друг к другу (отчего Сашка чувствовал идущий от нее жар), стали пробегать черные строчки глазами и так параллельно дочитали до последнего предложения.

Она молча закурила, сложила листки в аккуратную стопочку.

– Писателем станешь, – произнесла буднично. – Про нас напишешь когда-нибудь. Про меня... Мол, неглупая была, а с лица воду не пить...

– Ты симпатичная, – неуверенно и невпопад произнес он, осмысливая услышанное и пытаясь понять, серьезно она сказала или с иронией.

– Да ладно, что, я себя в зеркало не вижу... Но старичку моему нравлюсь... И не только старичку... – и вдруг, почти касаясь губами его щеки, прошептала: – А любить я могу лучше многих...

Сашка не нашелся, что и сказать, стал запихивать листы обратно в портфель, почему-то жалея о сделанном и ловя себя на мысли, что теперь ему уже безразлично, что скажут о рассказе другие, да и сам рассказ стал тоже неинтересен, словно не им написан. Он удивлялся этой метаморфозе, а Лариска расплачивалась с официантом, отмахиваясь от его возражений и поглядывая на золотые изящные часики (и обручальное кольцо у нее было массивное, свидетельствующее о достатке), оказывается, она сегодня улетала.

– Ольгу встретишь – привет передавай от меня, – вспомнила о подруге. – Я ее полгода уже не видела.

– Если встречу. Она вроде как в академический ушла, рожать... – сказал Сашка, думая, как разбрасывает их жизнь. Давно ли была летняя гроза, прибайкальская степь, его поход к заливу, и вот уже обе подруги замужем, да и он сам вроде как собирается жениться...

– А писателем ты будешь, не сомневайся, – сказала вдруг Лариска и, чмокнув его в щеку, села в невесть откуда взявшееся такси. – До встречи, – и хлопнула дверцей...

Он постоял и неторопливо зашагал в сторону студгородка, крепко прижимая портфель с рукописью и прочей чепухой и думая, что Лариска не такая уж и безобразная...

...Незаметно пришел Новый год. На этот раз он встречал его в общегитии. Прежде с Аркашей Распадиным бывали в разных компаниях, а теперь и тот семейный, и соседи по домам разъехались, – им недалеко, не то что ему, а с Машкиными родителями праздновать ему не

захотелось, на что та сильно обиделась и отказалась от предложения встретить Новый год где-нибудь вдвоем.

В последний декабрьский вечер он перетанцевал со всеми младшекурсницами (и перепцеловал, кажется, тоже всех) и в первый день наступившего нового 1974 года, отославшись в полупустом общежитии, поехал к Маше в Ангарск, где чинно посидел за семейным столом, а потом так же семейно, с родителями, Маша проводила его до вокзала, и со своей практически невестой ему даже не удалось в новом году (хотя очень хотелось) поцеловаться, родители у нее были строгими и несовременными. Поэтому между ним и Машей так и остался холодок.

Потом началась сессия, которую он сдавал досрочно, чтобы сходить в поход.

Наконец, в середине января вместе с друзьями-туристами и Машей (с трудом уговорил ее родителей отпустить под свою ответственность) отправились в Восточные Саяны.

Думали, получится бодрящая прогулка, но всю неделю, пока преодолевали заснеженные перевалы и нарушали девственность нетронутых снегов в таежных распадках, мороз держался за тридцать, и, засыпая с Машей в одном спальнике, они крепко прижимались, согревая друг друга. И хотя теперь никто не мешал им целоваться и делать все, что заблагорассудится, единственное, чего им хотелось друг от друга, – тепла.

Вернулись они из похода немножко другими, более спокойно относящимися друг к другу, словно уже были мужем и женой. По возвращении Маша пригласила его к себе, и на этот раз он остался после семейного ужина. Ему постелили на раскладушке в Машинной комнате, и он не стал нарушать предложенные условия, даже не попытался прилечь с ней рядом, только придвинул раскладушку к ее кровати, и они долго еще шептались, вспоминая поход, ребят, мудрые и одновременно суровые горы...

После этой ночи Сашка перестал оценивающе разглядывать первокурсниц, решив, что от судьбы не уйдешь, но, заглянув к Сереге с Мариной (которая вот-вот должна была родить, а оттого была некрасивой и капризной), а потом посидев вечером у недавних молодоженов Распадиных (Рита уже чувствовала себя в доме хозяйкой) и послушав их разговоры о семейных заботах и перспективах, решил не торопиться делать Маше официальное предложение. Во всяком случае, до защиты диплома.

В первую же учебную неделю его через Замшеева нашел Барышников. На этот раз он сразу же начал с того, что его интересует исключительно Борис Иванович Черников и ни о каких зимних горных тропах ему вешать на уши лапшу не надо. Жовнер искренне обрадовался этому конкретному предложению и сказал, что в этом случае ничем помочь не может, потому что Черникова не видел и, судя по всему, тот уехал.

– Никуда он не уехал, – сказал Барышников, сверля Сашку не по возрасту умудренным взглядом. – Здесь он, в городе. Со студенточкой живет, кочегаром работает... Вот по адресочку к нему и зайдешь, восстановишь отношения...

Он назвал адрес.

– Нас интересует, с кем он поддерживает отношения в Москве, – сказал Барышников. – Какую литературу получает, с кем общается...

О чем говорят его знакомые...

– Мы не настолько близки... – начал было Сашка.

– Ничего... У тебя есть повод, покажешь свой рассказ...

– Какой рассказ? – отчего-то заикаясь, произнес Сашка.

– Да про дом... падающий...

Барышников усмехнулся.

– Откуда вы знаете? – все так же заикаясь, не скрывая удивления, произнес Сашка.

– Нам положено все знать, – не удержался от снисходительно-довольной улыбки тот. – Если что есть еще, приноси, я почитаю...

Кстати, потом расскажешь, как Черников оценит...

Сашка был обескуражен. Идя по коридору, он старался понять, откуда Барышников знает о рассказе. Кужиков и Иванов отпадали, они были нормальными студентами, далекими от общественных дел и тем более от органов. Дима Лапшаков, которому он давал прочесть, судя по всему, так его и не прочел, отговорившись тем, что тот для газеты явно великоват. Читали еще Баяр Согжитов и Володя Качинский (первый отметил, что хорошо, но не актуально, а второй похвалил, но усомнился, чтобы его где-нибудь напечатали). Еще Лариска Шепетова и Маша, которой он в один из вечеров просто пересказал сюжет...

Не они же?.. Но откуда-то знает Барышников, значит, либо читал, либо ему пересказали... Кто?

И, как он ни вертел, ни крутил, все больше склонялся к тому, что тот мог узнать только от Лапшакова. Во-первых, редактору по должности положено дружить с ведомством. Во-вторых, тот мог показать рассказ Цыбину, посоветоваться, а тот, в свою очередь... Все это было как-то не по-настоящему, словно в каком-то романе или из жизни тех же революционеров, за рукописями которых охотилась тайная полиция... Это напоминало увлекательную игру и возбуждало. И рассказ, который он совсем недавно не считал достойным внимания серьезных взрослых людей, становился все весомее, значительнее. Но все же главным было мнение Черникова, с которым ему в любом случае, как он теперь понимал, предстояло встретиться.

...Они заглянули по адресу вместе с Машей в одно из вечерних гуляний вдоль Ангары. В старинном и ветхом двухэтажном деревянном доме в центре города, возможно, помнившем еще ссыльных декабристов (а уж революционеров наверняка), Черников с юной то ли женой, то ли сожительницей занимал довольно большую и на удивление уютную комнату. Он встретил гостей сдержанно, словно припоминая стоящего перед ним смуглого молодого человека и еще дольше изучая совсем незнакомую ему краснощекую блондинку. Наконец, отступил в сторону, приглашая проходить.

– Будем чай пить с бубликами, – неожиданно радостно объявил он и воткнул в розетку электроплитку, на которой уже стоял невероятно блестящий чайник. – Могу еще кашей пшенной накормить, – предложил, окинув внимательным взглядом оглаживающую юбку Машу. – Хотя навряд ли станете есть без масла... Нынешний студент не голодный и упитанный...

– Спасибо, – сказал Сашка, подталкивая Машу к старенькому, вытертому до белизны венскому стулу, стоящему возле круглого стола, и присел рядом с ней на другой точно такой же. – Кашу не будем, а вот от чая не откажемся. С мороза-то... – и, оглядывая комнату, в которой, кроме стола и кровати, вдоль стен на самодельных белеющих деревом полках стояли вереницы книг, добавил: – А у вас уютно...

– Юленька старается, чистоту любит.

Черников расчистил часть стола от раскрытых, сложенных в перевернутом виде одна на другую книг. – А что ж ты, Александр, свою девушку не представляешь?..

– Извините, Борис Иванович... Это Маша...

– Маша – это хорошо, – с тайной интонацией какого-то неведомого остальным знания произнес тот. – Маша, чай и бублики – это истинно русское...

Он поставил беленькие с золотистой полоской по верху чашки, наклонив одновременно такой же белый с полоской заварник и блестящий чайник, стал наливать в Машину. Вопросительно произнес:

– Погуще?

– Нет, достаточно, – заторопилась она, вытягивая вперед узкую белую ладонь.

– На пианино играете? – вдруг произнес Черников.

– На скрипке, – подсказал Сашка.

– По-настоящему? – прищурил глаза тот.

Маша вопросительно взглянула на него и усмехнулась, отбрасывая застенчивость, почувствовав, что нравится этому желчному, немолодому и тем не менее чем-то манящему мужчине.

И тот первый отвел взгляд, водрузил чайник на прежнее место, выложил на середину стола связку бубликов.

– В школе я был влюблен в девочку, которая играла на скрипке, – произнес, словно читал чей-то текст. – Она была некрасивая, угловатая, очкастая, но когда шла с блестящим футляром по нашей грязной улице, мне так хотелось, чтобы она меня любила...

– А она? – поинтересовалась Маша, накладывая в чашку сахар.

– Она просуществовала в нашем городке всего одну осень и потом исчезла. А я так и не осмелился к ней подойти. Может, поэтому и остался в памяти божественный образ, внешность, на которую я водрузил свой идеал возвышенной и утонченной женщины. Как сама музыка... Из романтического прошлого... – Черников сжал бублик, и тот с хрустом разломился. – А вам, Маша, разве удобно жить в этом веке?

– А вы уверены, что нет, – утвердительно произнесла она.

Ей становилось все интереснее и интереснее, и Сашка это видел. И не удивлялся. При непривлекательной внешности Черников почемуто после нескольких первых фраз умудрялся нравиться женщинам.

– Петрарка писал великолепные стихи, посвященные Лауре, которую он выдумал, я всю жизнь буду творить образ той девочки со скрипкой, и она всегда будет самая лучшая, самая желанная...

– А ваша сегодняшняя любовь?.. Ей, наверное, очень обидно знать об этом.

– Она не знает... А впрочем, я ей рассказывал, но она считает, что с мечтой изменять нельзя... Вы так не считаете, – полуутвердительно-полувопросительно произнес он.

И тут же, словно забыл о Маше, стал расспрашивать Сашку, какие новости в институте, как поживает его большой друг Цыбин, справляется ли Лапшаков. Но, не дослушав, откинулся на стуле, стал громко швыркать чай, прервал рассказывающего Жовнера:

– Впрочем, мне это совсем неинтересно.

И устался на него, явно демонстрируя свое знание истинной причины их визита.

Сашка взглянул на Машу, решил, что от нее не стоит ничего скрывать и, стараясь быть лаконичнее, передал разговор с Барышниковым.

Слушая, Черников все более и более улыбался, словно находил рассказ забавным и даже был очень рад всему происшедшему, а Маша отставила в сторону чашку с недопитым чаем и широко распахнутыми глазами уставилась на Сашку.

– Это все? – уточнил Черников, когда он закончил, и хихикнул, словно поставил точку. Повернулся к Маше. – А вы не знали об этом, бедная девочка... Еще чаю?

– Нет, – помотала головой та и, продолжая смотреть на Сашку, произнесла: – Он мне ничего не говорил.

– Напрасно сейчас сказал, – отрубил Черников и тоже устался на Сашку немигающим, пронзительным взглядом, словно вытаскивая из него то, что он недосказал. – Женщины не должны знать мужских дел и тем более вмешиваться в них. От этого в государстве возникает нестабильность.

И после паузы сказал Сашке:

– Оставь рассказ, я постараюсь прочесть.

– Я не взял с собой, – почему-то краснея, ответил тот. – Как-нибудь занесу.

– Вот и замечательно... А я тебе в письменном виде отвечу на интересующие товарища Барышникова вопросы... И пусть твоя девушка так не пугается, ничего необычного не произошло.

Он крутанулся на стуле и теперь уже устался на смутившуюся Машу.

– Он ваш друг?.. А может быть, жених?..

Подождал, пока они оба потупленно молчали.

– Впрочем, это пока не важно. А он давал вам читать свой рассказ?..

Она покачала головой.

– Правильно, любимым нельзя демонстрировать слабые стороны...

Не поясняя, что имел в виду, продолжил:

– Александр не столь зауряден, чтобы его не заметили наши досточтимые органы контроля за мыслями. Вы читали Оруэлла?.. Ну да, откуда... Постарайтесь найти, прочесть... – и, повернувшись к Сашке, уже другим, серьезным тоном произнес: – Хорошо, что ты все мне рассказал. Это свидетельствует о твоём выборе: лучше жить с открытым лицом и чистой совестью, чем стать сексотом, служить сомнительным идеям и не очень хорошим людям... Что же касается дальнейших отношений с ретивым куратором-чекистом, – он помедлил, раздумывая, – принесешь рассказ, тогда и поговорим...

И, улыбаясь Маше, весело произнес:

– Заглядывайте с милой Машей, я всегда буду рад... Жаль, моя Юля где-то задержалась...

Но в следующий раз вы обязательно с ней познакомитесь...

Он проводил их через грязный двор, махнул рукой на прощанье и напомнил Сашке:

– С удовольствием прочту рассказ, вдруг из тебя писатель получится, на старости погрёюсь в лучах чужой славы...

Неприятно хихикнул, словно посмеялся над всем сразу – над ними, собой, над будущим...

...Маша уговорила его поехать в центр. Они долго еще в тот вечер бродили по вечерним улицам, и Сашка с удивлением узнал новую Машу – обворожительно нежную, ласковую, доверчивую и... беззащитную. Он догадывался, что причина такого ее поведения не только в нем, но старался в эти мысли не углубляться...

...Он долго бы собирался к Черникову, но через неделю тот сам зашел в редакцию. Саркастически улыбаясь, оглядел разложенные на столе макеты очередного номера, дежурно похвалил растерявшегося и враз утратившего редакторское выражение лица Лапшакова и порадовался, что Сашка оказался тут же, не пришлось разыскивать или ожидать, когда закончатся лекции.

Они вместе вышли из кабинета, сделав вид, что каждый сразу от двери побежит по своим неотложным делам (интуитивно Сашка понял, что именно так надо себя вести, может быть, сказался теоретический курс истории народовольцев), порознь вышли из института и только на трамвайной остановке заговорили.

Сашка сказал, что рассказа с собой у него нет, но он может сбежать в общежитие.

– Зачем же бегать, пойдем прогуляемся, замечательная погода, весна... По дороге и поговорим.

Черников с интересом оглядел яркую группку девушек, оживленно обсуждавших, куда поехать после занятий, неторопливо пошел в сторону студенческого городка по противоположной от студенческих общежитий менее многолюдной стороне.

– Газетка-то совсем беззубая стала. Не критикует никого, – произнес Черников, когда Сашка его нагнал. – Дима, конечно, мальчик хороший и на зависть послушный. Отличный боец идеологического фронта... У него большое будущее. Но вот газету он загубит... Или это ты решил жить дружно со всеми.

– Я ему предлагал написать критическую статью по строительным отрядам, говорит, не надо, не время.

– Не время, формирование началось... Логично, ведь не поспоришь... А осенью нельзя, потому что итоги подводятся, отчеты хорошие должны быть. Зимой – как-то не к месту, – задумчиво, словно размышляя, произнес Черников. – А тебе что же, не нравится студенческое трудовое движение? – сказал это так, что трудно было понять, одобряет или отрицает подобную позицию.

– Нравится, я бы сам записался в отряд, если бы не практики. Просто там все заволокичено, начиная с момента формирования. К тому же левые заработки, пьянки, даже хулиганство было. Есть такие факты, в комитете мы обсуждали этот вопрос... И моральные проступки...

– Деревенских девок топчут, – неожиданно весело произнес Черников. – А может, как раз девкам это нравится, не обсуждали?..

– Нет, – неуверенно отозвался Сашка, не решив, принимать это всерьез или расценить как шутку. И, помолчав, добавил: – Вообще-то, два письма пришло о том, что дети должны родиться...

– Вот видишь, как замечательно. Это ведь можно приравнять к трудовым свершениям, а вы сразу – аморально... – Поинтересовался:

– Исключили из доблестных комсомольских рядов?

– Одного... Другой сказал, что женится...

– Вот и еще галочка... Создали молодую семью... Даже если со временем она распадется, все равно в отчетах можно отразить...

Сашка, наконец, разобрал явную иронию.

– Да ну вас...

И уже серьезно Черников произнес:

– Этих тем лучше не касаться, для двух влюбленных третий, даже если он корреспондент, – всегда лишний. Кстати, тебе совет на будущее, когда женишься, Маше не позволяй собой командовать. У женщин есть такая черта: до рождения ребенка она первенство мужчины признает, а после рождения – отыгрывает трехкратно... Оттого и подкаблучников нынче расплодилось... Вот тема... Но для тебя она еще не актуальна... А вот про рвачество в стройотрядах, про левые объекты писать надо, тут Дима нух потерял... Давай, дуй за рассказом, я подожду, на весенних девчонок полюбуюсь... – И, провожая взглядом длинноволосую и фигуристую Светку Пищенко, известную всему геофаку «подругу каждому за стакан», произнес: – Они в это время шалеют...

Сашка хотел объяснить, что Светка шалит исключительно от спиртного, но не стал, решив, что не стоит рушить иллюзии, если кому-то они необходимы...

Он оставил Черникова размягченно улыбающимся, заинтересованно разглядывающим по-весеннему ярких и жизнерадостных студенток, торопящихся мимо, а вернувшись, застал его оживленно беседующим с Машей. Они были настолько поглощены разговором, что Маша заметила его только тогда, когда он встал с ней рядом.

– Привет.

– Привет. А я к девчонкам в общежитие бегу – курсовую делать...

– Вечером погуляем?

– Домой надо съездить, давай вместе... Родители рады будут.

– Потом обсудим, – сказал Сашка, вспомнив, что ему советовал Черников.

– Гуляйте. Пока можно, – непонятно о чем молвил Черников и завершил недосказанное: – Машенька, помните, мужчины в любом возрасте любят ласку... Они только на вид страшные или чересчур независимые бывают...

– Я запомнила, – кивнула та. – Я талантливая ученица и не боюсь даже самых независимых...

Последняя фраза понятна была явно только им, Сашка вдруг почувствовал ревность и, отвернувшись, стал смотреть на проходящих девчонок.

– Сашенька, до вечера! – махнула ему рукой Маша.

– Пока, – хмуро отозвался он.

– Ну, давай, – Черников взял сложенные пополам листы, развернул. – Название, конечно, интригующее...

Хмыкнул, свернул листы в рулон и пошел в сторону остановки, размахивая им, как дирижерской палочкой, показывая на ту или иную привлекающую его внимание девушку и громко объясняя, чем она может соблазнять ребят.

И Сашка не мог не отметить, что предположения Черникова убеждали его, и судя по тому, как оборачивались девчонки, им тоже были интересны. И совсем не интересен рассказ.

Настроение у Сашки испортилось. Он все более убеждал себя, что Черникову рассказ не понравится, и тогда не избежать язвительных суждений, от которых опускаются руки и пропадает всякое желание писать не только рассказы... И он стал невнятно объяснять, что имел в виду, когда писал. Неохотно бросал взгляд на девушек и опять возвращался к пояснениям.

– Похоже, твоя Маша тебя заколдовала, – наконец со смешком прервал его Черников. И, остановившись, назидательно подняв свернутый рассказ, произнес: – Никогда не объясняй, что ты хотел сказать.

Каждый поймет написанное по-своему и, если это хорошо, скажет об этом, похвалит или разнесет в драбадан. А если плохо, как правило, промолчит... Нечего сказать будет, ни плохого, ни хорошего...

– Может, тогда я лучше заберу обратно?

– Считаешь, что надо переделать?

– Нет, – неуверенно отозвался он.

– Не переживай, я скажу правду.

Уже на остановке, перед тем, как подняться в трамвай, Черников сказал, что приглашает в субботу его и Баяра в гости к хорошему писателю и замечательному человеку – Дмитрию Сергееву, где соберутся интересные люди. Сашка смущенно возразил, что это, наверное, неудобно, они незнакомы.

– У вас есть время прочесть его книги, в библиотеке найдете, а неудобно среди умных людей бывает только дураку...

Черников запрыгнул на ступеньку отъезжающего трамвая и громко выкрикнул:

– Барышникову привет!

И помахал рукой так, словно за Сашкиной спиной стоял тот самый Барышников, которому он то ли сам, то ли через Сашку и передавал привет.

Сашка не сдержался, обернулся, покраснел и, крутанувшись на месте, стараясь не разглядывать стоящих позади, быстрым шагом пошел к институтскому корпусу...

...В отличие от него, Баяр приглашение сходить в гости к известному писателю воспринял спокойно, словно в подобном визите ничего не было особенного, но озаботился вместе с Сашкой поиском книг хозяина, которых ни тот, ни другой не читали. Одну они купили в магазине, это был только что вышедший роман о войне, еще две нашли в библиотеке. Пару вечеров, меняясь, читали, затем пришли к единому мнению, что писатель, несомненно, крепкий, но война давно позади, о ней можно было бы уже и не писать, хотя уважения автор достоин еще и за то, что воевал...

Неизвестно, каким представлял встречу с настоящим писателем Баяр, но судя по застывшему, как маска, лицу, он совсем не волновался. Сашка же с трудом попал в кнопку звонка.

Открыл невысокий и еще не очень старый мужчина в клетчатой байковой рубаше с завернутыми рукавами, немного помятых брюках и тапочках. Приветливо улыбнулся, сказал: «Заходите, не стесняйтесь», и знакомясь, сухой крепкой ладонью пожал им руки.

В коридор выглянула высокая худая девушка, спросила, словно старых знакомых: «Чай будете?». «Конечно, будут!» – ответил за них хозяин. «С лимоном?» – уточнила та. «С лимоном, на улице сегодня промозгло», – отозвался за них хозяин и мягко подтолкнул переминающегося Сашку.

В небольшой комнате с удобно расставленной немногочисленной мебелью им навстречу поднялись с дивана двое ребят: один, скуластый, темноволосый, протянув руку, представился

Олег, второй, повыше и поплотнее, – Володей. Оба оказались студентами университета, филологами (как и встречавшая их Аня), все трое писали кто курсовую, кто диплом по творчеству Сергеева. Они тут же начали шумно удивляться, что в политехе есть люди, интересующиеся гуманитарными дисциплинами, и дежурно язвить про физиков, забредших к лирикам, и это у них очень хорошо получалось. Сашка с Баяром явно уступали в словесном поединке, но их выручил звонок в дверь, появление громкоголосого и язвительного Черникова с Юлей, который сразу оттянул на себя все внимание и гостей, и хозяина, с ходу делясь мнением и о последней книге Сергеева, и о только прочитанной в «Нашем современнике» повести Распутина «Живи и помни».

– Кстати, Валентин обещал заглянуть, – порадовал он и хозяина, и гостей.

И тут же ввязался в спор с Володей о драматургии Вампилова. Тот считал, что «Утиная охота» – это отнюдь не откровение поколения, а всего лишь наспех сочиненная, не совсем продуманная и, вероятнее всего, незавершенная пьеса, и если бы не случилось то, что случилось, и автор был бы сегодня жив, он обязательно ее перекроил бы.

Черников сначала азартно, а потом с раздражением стал втолковывать юному критику, что пьеса сделана, Зилов – правдивый образ человека, не востребованного обществом, потому что общество сегодня ограничено всяческими табу, оно несвободно и не стимулирует человека ни на творчество, ни на труд...

Юля с Аней, накрывавшие стол, поддержали Черникова, но с оговорками, что речь идет именно о незаурядной личности, осознающей свою неприкаянность, мучающейся от этого понимания, а не о мещанах, которых вокруг большинство... Сергеев неожиданно занял сторону Володи, правда, отметив, что в целом пьеса есть, но, несомненно, будь сегодня автор жив, он обязательно над ней еще поработал.

Сашка и Баяр внимательно слушали набиравший силу спор, в то время как Олег присоединился к девушкам, явно обратив внимание на Юлю.

Наконец, на столе появилась бутылка вина, выставленная хозяином, ее заметили, спор стал угасать, так и не примирив споривших.

Баяр, вернувшись в прихожую, достал из большого кармана своего кожаного, с отцовского плеча, плаща (бывшего в моде лет двадцать назад и вновь входящего в моду) бутылку вина, которую они купили на всякий случай по пути, присовокупил ее к уже стоящей.

– Рассаживаемся, картошка готова, – стал приглашать хозяин. – Все же голодные, желудок пустой, да и погода не греет... Кстати, эти же факторы благодушествовать не позволяют, оттого споры бывают необъективными и пустыми...

Они расселись. Черников – рядом с хозяином. Олег пристроился возле Юли, стал активно за ней ухаживать (похоже, он не знал, что та – жена Черникова). Баяр уселся на единственный оставшийся свободным стул, остальные утеснились на диване.

Сергеев и Черников пили водку, принесенную Черниковым, остальным разлили вино. Картошка исходила парком и аппетитным запахом, селедка выжимала непрошеную слюну, на какое-то время разговор прервался, но спустя несколько минут возобновился, теперь уже чинный, вполне понятный всем. Говорили о последних событиях в столице и здесь, в городе, произошедших прежде всего в литературных кругах. Еще раз прошлись по последней повести Распутина, признавая ее серьезным, достойным обдумывания произведением, потом бурно обсудили рассказы Шукшина (приукрашенный реализм или приниженный романтизм?) и попутно – его фильмы.

На столе добавились еще пара бутылок вина, разговор пошел оживленнее, но вдруг Черников прервал всех и голосом, не терпящим возражений, произнес:

– Я хочу вам кое-что прочесть...

Достал откуда-то из-под свитера измятые листы, развернул, перебрал, переложил и начал читать...

И с первой же фразы Сашка весь сжался, отклонился, прячась между Володей и Аней, узнавая и, одновременно, не узнавая читаемое. В полной тишине Черников прочел страницу, переложил ее вниз, продолжил чтение. И вдруг остановился, сложил листы, кудато опять их засунул и спросил:

– Ну что, Дима, дадим филологам возможность поупражняться в риторике?

Сергеев кивнул.

– Вполне приличная проза, – первой не выдержала Аня. – Стилистически грамотная... Об остальном по одной странице судить трудно. Это ваш новый рассказ?

– Неважно чей... Еще есть мнения?

– По отрывку, вырванному из контекста, судить нельзя. Это ведь проза, в ней фабула, сюжет важны, детали, язык... Язык, кстати, не блеск, – высказался Олег.

– Язык слишком литературный, чистый... – поддержал его Володя. – У того же Распутина язык подчеркивает индивидуальность, характер... А здесь все без-э-мо-ци-о-наль-но, – произнес он по слогам, скорее всего оттого, что собственный язык начал у него заплетаться. – Какой-то герой аморфный, чего-то желающий и не могущий...

– Не характерный, – выкрикнул Олег, словно сделал открытие.

– А я не согласна! Литературный язык – это замечательно! – воскликнула Аня. – Тургенев, Толстой, Достоевский, даже Горький...

Они не коверкали язык, хотя могли бы, типажи позволяли, и тем не менее все образы у них живые...

– Язык соответствует герою, – негромко произнес Сергеев, – но судить в целом о рассказе действительно невозможно, хотя очевидно, что автор – человек одаренный...

– Ты понял, что это не мое, – рассмеялся Черников.

– Ну, я твой стиль знаю, – улыбнулся Сергеев.

– Так я тебе оставлю этот рассказ «на почитать».

Черников опять неведь откуда вытащил мятые листы, передал их Сергееву.

– На твой суд.

– А кто автор? – поинтересовалась Аня.

– А вот Дмитрий Сергеевич прочтет, сочтет нужным, назовет автора, не сочтет, так и останется тайной узкого круга людей... – И, многозначительно подняв палец, произнес: – Хотя кое-где его уже внимательно прочитали...

И многозначительно переглянулся с Сергеевым.

Сашка незаметно смахнул со лба выступивший пот, притаенно передохнул, стараясь не встречаться взглядом с Черниковым, боясь ненароком раскрыться, отчего-то все больше и больше находя в своем нынешнем положении аналогий с революционерами. Может, поэтому все происходящее в эти дни воспринимал не всерьез, словно все это было не с ним, а с кем-то другим, похожим на него, а он лишь наблюдает со стороны... И отсюда, из его нового положения, было понятно, что Олег уже договаривается с Юлей о встрече, а значит, она еще не призналась ему в своем замужестве. Что Баяру нравится здесь, и он нашел о чем беседовать с Володей. (Может быть, о рассказе?..

Нет, Баяр не проболтается.) Что Аня явно равнодушна к Сергееву (к старику!), а может быть, просто родственница... (Интересно, где его жена, дети...) И ему казалось, он догадывался, о чем думает писатель с усталыми и одновременно очень пронизательными глазами, с улыбкой наблюдающий за всеми сразу. Несколько раз он сталкивался с его пытливым взглядом и торопливо отводил глаза.

Но вот Аня завела речь о последнем военном романе Сергеева, о недосказанной в нем правде, которая тем не менее доступна внимательному читателю, умеющему видеть между строк. Она сделала вывод, что, судя по всему, не обошлось без вмешательства цензуры, и Сергеев согласно кивнул.

– И не только государственной, но и собственной, авторской, – неожиданно признался он. – С одной стороны, не хотелось дразнить могущественное ведомство, поэтому о многом действительно только намекнул. – И, помолчав, добавил: – С другой – жестокие подробности мне не были нужны. Да, было огромное количество бессмысленных жертв. Особенно вначале. Болезни, грязь, подлость, голод...

Были предательство и мародерство. Элементарная трусость. В плен сдавались сотнями, тысячами... Каждый словно вдруг сбрасывал с себя все и оставался нагишом... И даже не так, как вы себе представляете, без одежды, нет. Обнажалась душа... Выявлялись жадность, мелочность, склонность к насилию, даже садизму...

– И вы все это видели? – уточнил Володя.

– Я это пережил, – с улыбкой произнес Сергеев.

– А ты возьми да напиши всю правду. Издай за границей, – вдруг посоветовал Черников. – Как говорят, Бог не выдаст, свинья не съест...

– Зачем?... – спросил Сергеев. – Мы же были молоды в то время, и у нас были те же чувства и желания, что и у вас... Хотелось все познать, очень хотелось любви... Вы знаете, как нестерпимо хочется любви, когда вокруг смерть и жестокость?.. Мы ведь не только воевали, мы жили в тех же условиях, что и мой герой... Вот внутренний цензор и спрашивал, когда я писал, нужна ли жестокая правда в том полотне человеческих отношений моих совсем юных героев. Стоит ли акцентировать внимание на том, что не являлось главным в ощущении мира именно ими?.. Может быть, я когда-нибудь расскажу и об этой стороне, а может, это сделает кто-нибудь другой из фронтовиков-писателей...

– Вы воевали, пережили то, о чем мы совсем ничего не знаем. Вы ведь убивали, а разве после этого можно радоваться, влюбляться?.. – не поверила Аня.

– Есть враг, есть ты. И кто-то должен погибнуть, покинуть этот мир. Если ты не торопишься туда, значит, должен убивать... И нет альтернативы, белое и черное, бытие и небытие... Это объективная данность... Но я заметил, на войне быстрее течет время, человек быстрее проживает свою жизнь. И важно отразить эти движения души, эти стремительные изменения...

– А я с тобой не соглашусь, – прервал его Черников. – Все равно ты бы написал и о вшах, и о воровстве командиров, их бездарности, если бы не боялся...

– Мы не на войне, – уклончиво отозвался Сергеев. – В военное время, когда живешь среди себе подобных, что-то прощаешь людям, за что они прощают тебе... А в мирное время вдруг стать врагом всем окружающим?.. Во имя чего?

– Сергеич, ты не прав... Главное в этом мире – истина. Джордано Бруно пошел на костер ради истины. Галилей произнес: «А все-таки она вертится...». Гумилева расстреляли, потому что он не предал свою истину. А Маяковский сам застрелился, оттого, что не мог служить двум господам... Творец должен служить исключительно истине и не бояться осуждения общества или государства. Тем более, нашего, – Черников привстал, вскинул, словно указку, вилку с насаженной на нее картошкой. – Что такое наше общество? Трясущиеся, кухонные мещане, не способные на борьбу интеллигенты... Я вот сейчас трус о рабочий класс, вижу – правильно, что он в нашем обществе гегемон. Он работает и пьет, пьет и пашет до кровавых мозолей. Он чувствует ложь, несправедливость, собственное бессилие, оттого и пьет... А мы – витийствуем...

– Боря? – негромко произнесла Юля и, прижавшись к Черникову, что-то ему прошептала.

– Вот видишь, – качнулся Черников в сторону Сергеева, – наши слабости – это наши оковы. Это груз, который гнетет... Но мы не находим в себе сил от него избавиться...

Юля забрала у него вилку, и он замолчал, словно потерял нить рассуждений...

– Ну да, я не лучше тебя, даже хуже, но мне дано познать истину, с тебя же другой спрос... – с вызовом произнес Олег, завуалированно возражая и Черникову, и Сергееву.

Сашка подумал, что Черникову уже достаточно пить, и ему стало обидно за хозяина. Но тот нисколько не обиделся, спокойно произнес:

– Наверное, ты, Боря, в чем-то прав. Мне хотелось просто рассказать о том, как мы жили, какими были в их возрасте, – он обвел рукой стол. – Может, это поможет им ответить самим себе на вопросы, которых в любой молодости так много... И я не претендую на истину, скорее даже, я субъективен...

– Успокаиваем себя... Я и говорю – кухонные революционеры, – с ударением на «о» в слове «кухонные», ни к кому не обращаясь, пробубнил Черников. – Оттого муторно и тесно, оттого таланты спиваются или умирают в нищете от непонимания...

– Выходит, Вампилов – талант, а Валентин Распутин – не талант, – неожиданно вмешался Олег.

Черников вскинул голову, удивленно уставился на него и раздраженно произнес:

– Саня Вампилов – гений... Он классик русской драматургии, а Валя Распутин – талант, и он страдает, оттого пишет... И Гена Машкин – талант, но не раскрывшийся... Потому что в нем тоже живет цензор...

И замолчал.

Было очевидно, что все, кроме, пожалуй, мягко улыбающегося и словно отстранившегося от происходящего хозяина, пытались постичь логическую связь в высказанных тезисах.

– А Машкин политехнический ведь заканчивал, – вспомнила вдруг Аня. – Мне понравилось «Синее море, белый пароход».

– И рассказы у него есть неплохие, – поддержал ее Володя. – «Вечная мерзлота», к примеру, классика жанра.

– Не будем больше моим друзьям косточки перемывать, – недовольно произнес вдруг Черников.

Зависла пауза.

– Однако, пора нам всем по домам, – наконец прервала молчание Аня и поднялась. – Дмитрий Сергеевич, мы с Юлей сейчас все быстренько приберем... – и стала собирать посуду.

– А мы пока покурим... – поддержал ее Володя.

Все шумно задвигали стулья, некурящие Черников и Сергеев ушли в другую комнату, кабинет хозяина. Аня и Юля деловито засновали между комнатой и кухней, откуда донеслось журчание воды и звон тарелок.

Ребята вышли на улицу.

Поеживаясь от ощутимой ночной прохлады, закурили.

– Интересно, чей это рассказ Борис нам читал? – произнес вдруг Олег.

Сашка многозначительно посмотрел на Баяра, но его лицо как всегда не выражало никаких эмоций. За все время, которое он знал Согжитова, Сашка так и не смог понять, было ли это отражением азиатской мудрости или присущей Баяру флегматичности.

– А зачем тебе это знать, – отозвался Володя. – Рассказ, похоже, так себе... Язык – обычный, типаж тоже усредненный, если судить по этому отрывку.

– По отрывку не стоит, конечно...

– Это точно, – перебил Олега Сашка.

– ...но ты же знаешь Черникова. Он выносит на обсуждение то, что хочет или похвалить, или размазать... – продолжил Олег, обращаясь к Володе.

– На этот раз он гения точно не открыл...

– А насчет формулировки понятия «гений» он вообще загнул, – выдохнул после глубокой затяжки Олег. – Вампилов – талант, да. Но не гений...

И, явно заинтересованно, спросил у Сашки:

– Кстати, а кто Юлю знает? Она у вас учится?

– Она – жена Бориса Ивановича, – подал голос Баяр.

– Правда, что ли? – не поверил тот. – Он же старик для нее...

– Правда, – подтвердил Сашка. – Во всяком случае, они живут вместе, и он так говорит.

– Ну, Иваныч... – то ли с осуждением, то ли с одобрением протянул Олег.

– А ты было и губу раскатал, – поддел Володя. – На чужой каравай...

– А что, не скрою, понравилась она мне, – не стал отказываться тот. – Симпатичная девушка, не глупенькая...

– Так уведи, – посоветовал Володя.

– Захочу – уведу...

– От Черникова не уведешь, – веско произнес Баяр.

– Отчего же, – возразил Сашка, вдруг поймав себя на мысли, что был бы рад такому развитию событий, и вспомнив, каким взглядом окидывала Маша Черникова и у того дома, и перед общежитием. – Мне кажется, ты ей понравился.

– Мне тоже так показалось, – не скромничая, согласился Олег. – Надо будет договориться о свидании. Одним словом, вы, мужики, ничего мне о ней и Черникове не говорили, и для меня она – свободная девушка.

И первым заторопился обратно...

Стол был уже чист, только в центре стояли недопитые бутылки и чистые рюмки. Хозяин и Черников вышли из кабинета. Они были неожиданно серьезны, и Черников не казался таким пьяным.

– Не будем все о вечном... – Черников разлил остатки водки в две рюмки, подал одну Сергееву и, не ожидая, пока остальные разольют вино, сказал «на посошок» и выпил. Морщась, закончил:

– Но согласись, Сергеич, Твардовский останется в истории не столько поэтом, сколько редактором мятежного и свободолюбивого «Нового мира»...

– Не стану спорить, это дело неблагодарное. Время рассудит...

Но, в свою очередь, думаю, Теркин все равно останется, хотя в нем тоже нет той правды, о которой ты говоришь...

– Нет правды, совершенно верно, – согласился Черников. – Может быть, и останется, но читаться будет иначе...

– Каждое поколение все прочитывает по-своему... Уверен, что современники Булгакова прочли его «Мастера» не так, как мы...

Юля, отпив немного, поставила свою рюмку и ушла одеваться. За ней, бросив взгляд в сторону явно не торопившегося Черникова, выскочил Олег.

– Эти самые современники о нем просто не слышали. В основной массе они его не читали... Да если бы и читали, современникам не дано понять истинную масштабность того, кто рядом... К тому же те, кто мог бы сказать веское слово, подсказать остальным, на кого смотреть, кого слушать, читать, как правило, сами озабочены дележом прижизненной известности и лавров... За что я уважаю Твардовского? За то, что он умел радоваться не только своей славе... – возразил Черников. И неожиданно спросил Сашку: – А вот ты, Жовнер, почти интеллигентный человек двадцатого века, читал «Новый мир» эпохи Твардовского?

Тот растерянно мотнул головой.

– Вот, пожалуйста... – сделал красноречивый жест Черников. – Будущий инженер, претендент на звание интеллигента, не читал самого главного журнала страны... Что он может создать нужного и важного, если он не прочел Анатолия Кузнецова, Виктора Некрасова, Вадимова, Солженицына? Если он живет в своем маленьком мещанском мире и лелеет свои мелкие похотливые желания?

Хлопнула входная дверь, в коридоре стало совсем тихо.

– Он тупо будет служить этому обществу, этому государству и продолжать укреплять традиции соцреализма, в котором места истине нет, – Черников назидательно воздел указа-

тельный палец. – Нет, места ей не было и не будет, потому что он, несмотря на свой талант, как и все, будет стремиться только к большому корыту...

– Ну зачем ты так, Боря... Ты же не Господь, чтобы все знать наперед... Придет время, и «Новый мир» он прочитает. К каждому все приходит в свое время, когда он готов...

– Замечательная позиция... Но слишком философична для нашего времени... Ладно, Сергеич, ты про рассказ не забудь, посмотри...

С точки зрения приближения к истине... – Черников явно утратил интерес к спору.

Он стал обходить всех, прощаясь, долго держал и гладил тонкую Анину руку (словно раздумывая, поднести ее к своим губам или нет), вполголоса наговаривая ей комплименты по поводу неженского ее ума и материнской женственности. Наконец, вышел в прихожую.

За ним выстроились в очередь на выход и остальные.

Сергеев, ожидая, пока они оденутся, с улыбкой наблюдал за ними, наконец, простился с Черниковым, потом с ребятами, гурьбой высыпавшими на улицу и оставившими его наедине с уже одетой Аней.

Навстречу им в подъезд торопливо вбежал возбужденный Олег, довольно бросил Володе «договорился», попросил подождать его.

– Может, в кафешку зайдем? – предложил он, вернувшись.

Но настроения ни у кого не было, и они разошлись.

Сашка с Баяром пошли пешком в сторону студгородка. Олег, Володя и Аня – на трамвайную остановку, им до общежития было далеко.

– Ну, как тебе вечерок? – поинтересовался Сашка, когда они остались вдвоем.

– Жалко, Валентин Распутин не пришел, – немногословно отозвался Баяр. – И «Новый мир» надо будет почитать.

– У Бориса все комплекты есть, которые Твардовский редактировал, попроси... А как рассказ со стороны слушается?

Он даже перестал дышать, ожидая ответа.

– Нормально, – бесстрастно отозвался тот.

Такой ответ Баяра его не успокоил. Он представил, как Сергеев разложит на своем столе листы и начнет читать... Поймет ли он то, что Сашка хотел выразить?.. А если не поймет... Или молча вернет...

Напрасно он дал его Борису.

Хотел поделиться сомнениями с Баяром, но, взглянув на его лицо, отражающее буддийское спокойствие и отстраненность, передумал.

...На следующей неделе он прочитал «Утиную охоту» Вампилова и повесть Распутина «Живи и помни».

Пьесу он не воспринял, а повесть вызвала много мыслей, и он вдруг написал что-то похожее на рецензию, в которой сначала довольно детально пересказал сюжет, а потом отметил, что главная идея повести, ради которой все и написано, – пагубность раздвоения главного героя – Гуськова. И это раздвоение – следствие единственного неверного поступка – практически вычеркнуло героя из жизни общества и в конечном итоге – из жизни вообще.

Этот вывод перекликался с разговором у Дмитрия Сергеева. Валентин Распутин, на взгляд Сашки, тоже считал некую абсолютную истину важнее условностей, принятых в обществе, но его истина явно не была похожа на истину Черникова...

Он показал рецензию Лапшакову. Тот прочел ее неожиданно быстро и также неожиданно для Сашки поставил в номер, пояснив с улыбкой, что тем самым их многотиражка обойдет даже большие газеты. Что он имел в виду, Сашка не понял, но уточнять не стал, главное, что рецензия оказалась настоящей, а не никому не нужным сочинением.

Вышедшую газету прочли все «пегасовцы», но никто ничего не сказал.

Попала газета и к Черникову. Скорее всего через Баяра, тот сошелся с Борисом Ивановичем на почве трепетного отношения к «Новому миру» и теперь часто бывал у того.

Черников наведлся в институт по делам (писал для «Восточки» материал о научной работе в политехе), сначала покритиковал за поверхностность рецензии, а потом похвалил за смелость.

– Для студенческой аудитории в самый раз. Доходчиво, и кое-что верно подмечено, – подвел итог он. – Главное, ты первый отреагировал, так сказать, из народа. Маститых опередил... Им теперь отмолчаться не удастся... В субботу соберется писательская братия, околитературные круги, вход свободный, настоятельно советуя побывать. Надо привыкать к среде, в которой вариться собираешься...

Иммунитет приобретать от лести да зависти... И, кстати, Сергеев хотел с тобой поговорить...

Сашке не терпелось спросить, понравился тому рассказ или нет, но не решился.

Страшно хотелось похвастаться приглашением на собрание писателей (он воспринял это предложение именно как приглашение) перед сокурсниками или «пегасовцами», но сдержался, отдавая себе отчет, что первым это совсем неинтересно, а вторые могут позавидовать. Проговорился только Маше, но, как и следовало ожидать, та отнеслась к новости без интереса и только посожалела, что он не приедет к ней в Ангарск в субботу. И даже надулась, явно демонстрируя, что выбор между ней и какими-то писателями он сделал неверно.

Но, признаться, стоя перед двухэтажным особняком на одной из тихих улочек в центре города, вывеска на котором уведомляла, что именно здесь и обитают писатели, он малодушно подумал, что лучше было бы гулять сейчас с Машей по Ангарску. Наконец, решился, вошел. И понял, что никто ни о чем спрашивать его не будет. Разделся в маленьком гардеробе, стал лавировать среди знакомых друг другу и незнакомых ему солидных и несуетливых мужей.

Обрадовался, когда среди них увидел Баяра, который, казалось, чувствовал себя здесь в своей тарелке. Они устроились в самом конце небольшого зала, отдавая себе отчет, что гости здесь они явно непрошенные, стойчески выдерживая пронизательные взгляды серьезных и не очень писателей и кое-кого узнавая.

Импозантный и еще не старый поэт, публиковавшийся в «молодежке» под псевдонимом Владимир Скиф (Сашка однажды был на его вечере в институте), завсегдатаем прохаживался по залу, меняя маршрут от одного маститого к другому, словно теплоход, заблудившийся в тумане.

Высокая и худенькая молодая женщина с ярко горящими глазами, присевшая в первых рядах, периодически оборачивалась и перекидывалась фразами то с одним, то с другим писателем. Она тоже была здесь своей, хотя выглядела ненамного старше Сашки. Он на всякий случай поинтересовался у Баяра, кто это, но, как и следовало ожидать, тот не знал.

Зато, оказывается, мог подсказать, кто здесь известный поэт Иоффе, кто редактор альманаха. Неожиданно он оставил Сашку в одиночестве и пустился в рискованное путешествие по залу, всем своим видом показывая, что совсем не случайно находится здесь. Вновь в поле зрения он появился живо беседующим с бородатым Скифом. Усаживаясь рядом, не без гордости, пояснил:

– Владимир – неплохой поэт, обещал свою книгу подарить... А девушка эта – Лиля Ларик, корреспондент из «молодежки». О культуре пишет. Между прочим, у нее газета с твоей рецензией...

– Точно?

– Сам видел...

В зал вошли самые маститые, уже совсем старые писатели, ведомые секретарем, тоже далеко не молодым. Сашка их совсем не знал, но понял, что они самые уважаемые, по тому, как стремительно остальные стали занимать места в середине и конце зала, пока на передних

рядах рассаживались вошедшие. Среди них был и Дмитрий Сергеев, но сел он не на первый, а на второй ряд, с краешку, словно не собирался долго засиживаться.

Потом поднялся секретарь писательской организации, сказал, что сегодня они собрались, чтобы обсудить ряд вопросов культурной жизни города и, в частности, застройки его центральной части, поэтому пригласили на встречу архитектора.

Архитектор оказался невысоким и плотным, с широкими ладонями и мощными плечами, похожим скорее на продавца в мясном ряду на рынке, чем на архитектора, но когда он стал рассказывать, каким видится силуэт старой исторической части города со стороны левобережья Ангары (на котором и находились политех и студенческий городок), а его помощники стали показывать эскизы, всякие сомнения отпали – в его мощных руках тонкая указка смотрелась вполне естественно.

Постепенно подходили опоздавшие, заполняя самые последние ряды, и Сашка увидел Черникова, вошедшего вместе с человеком, в котором сразу же узнал Валентина Распутина. Они присели с краю, о чем-то пошептались, потом стали слушать архитектора.

В предложенных эскизах писателям не понравились две высотные башни по обеим сторонам остроконечного польского костела, такой же достопримечательности города, как и дома, где жили или бывали декабристы, по этому поводу завязалась оживленная дискуссия, итогом которой стало согласие архитекторов изменить конструкцию данных сооружений, придав им более органичный для города характер.

После этого архитекторы скатали эскизы, главный архитектор поблагодарил творческую интеллигенцию города за внимание к их работе и, сопровождаемый помощниками, ушел.

Вторым вопросом стало обсуждение содержания альманаха «Ангара», который, судя по горячим выступлениям более молодых писателей (того же Скифа), не устраивал большинство ни содержанием, ни качеством публикуемых произведений, и, тем более, своим невниманием к молодым талантливым авторам. Обсуждение было страстным. В нем приняли участие и Геннадий Машкин, и Валентин Распутин, и Дмитрий Сергеев. Они не столь напористо, как Скиф, но аргументированно поддержали мнение, что альманах прежде всего должен быть площадкой для молодых, а известные авторы – члены Союза могут печататься в центральных толстых журналах.

– Если бы их там публиковали, – выкрикнул кто-то из зала.

– А их и так публикуют, – ответил за всех обиженный этой репликой секретарь. – Наша организация на высоком творческом счету, в ней состоят талантливые, известные авторы. И опытные, и молодые, как тот же Геннадий Машкин или Валентин Распутин, еще совсем недавно ходившие в начинающих... Так что не надо сеять раздор и делить... – И анонимно посоветовал: – Дотягивайтесь до уровня, поднимайте важные темы, социально востребованные...

– Конъюнктурные тоже можно, – ехидно подсказал Черников.

– И конъюнктурные, а что в том плохого?.. Ты, Борис, сам пишешь то, что требуется, на злобу дня, – отпарировал секретарь. – Задача нашей социалистической литературы – воспитание людей на положительных примерах, и тут нельзя не откликаться на общественные проблемы...

Черников хмыкнул, но в спор вступать не стал, только выговорил свое последнее слово благостно кивнувшему Распутину.

– А что касается качества публикаций в альманахе, оно действительно оставляет желать лучшего. И правильно критикуют наши товарищи. Члены редколлегии, главный редактор должны это учесть, сделать выводы, – подвел черту секретарь.

– Пока главным будет нынешний главный, ничего не изменится, – выкрикнул кто-то из задних рядов.

– Вопрос о главном редакторе мы сегодня рассматривать не планировали и не будем, – заявил секретарь. – Соберется бюро, там и рассмотрим, есть в этом необходимость или нет. – И, глядя на пожилого, краснолицего, с сединой на висках мужчину, вероятно, главного редактора или сотрудника альманаха, поинтересовался: – А рукописи-то молодых есть в редакции?

– Есть рукописи, – не стал кривить душой тот. – Но качество...

Договорить ему не дали. В центральной и задней части зала, в которой и сосредоточились те, кто относил себя к молодым (хотя большинство из них почти годилось Сашке в отцы или, по крайней мере, в старшие братья), загудели, запротестовали, забивая голос редактора альманаха. С мест стали выкрикивать фамилии тех, кому было уже отказано без объяснения причин, кого вот уже многие месяцы не удосужились прочесть, у кого даже не приняли рукописи на рассмотрение, опять же, не объяснив причину. Краснолицый пытался что-то отвечать, потом еще больше запунцовел и, махнув рукой, сел на место. Поднявшийся на выручку секретарь воздел руку вверх и так подождал, пока гам стихнет, затем негромким голосом, заставляя всех вслушиваться, а оттого еще больше успокаиваться, стал объяснять непростые финансовые проблемы, не позволяющие увеличить периодичность или же объем альманаха, дабы он мог вместить всех желающих опубликоваться, загруженность членов редколлегии, не успевающих прочесть все рукописи, наконец, сослался на художественную слабость и неактуальность значительной части предлагаемых произведений, что опять вызвало бурю негодования. Эта перепалка, наверное, продолжалась долго, если бы за тонкой стенкой, отделяющей зал от коридора, не сорвался с гвоздя висевший у двери огнетушитель и не завертелся на полу, поливая белой пеной стены и доставая разгоряченных спорщиков.

Задние ряды повскакивали, ринулись вперед, выплескивая накопившуюся энергию нервным смехом и едкими репликами по поводу случившегося. Это разрядило возникшее раздражение, крики «Заканчивай бодягу!» и «Пора в буфет!» перекрыли все остальные, и народ, не ожидая команды, стал потихоньку вытекать в коридор, группируясь в кружки и продолжая теперь уже свое, кулуарное обсуждение.

Сашка вышел вслед за Баяром, который уверенно направился в сторону Черникова, разговаривающего с той самой журналисткой из «молодежки». Тут же недалеко обменивались мнениями Распутин с Машкиным. Сергеев что-то обсуждал со спокойным и чинным Иоффе. Баяр молча встал рядом с Борисом Ивановичем, и Сашка пристроился рядом, не зная, как себя вести.

– Вот, Лилечка, кстати и тот самый Жовнер, который сие нащелкоперил, – вдруг сказал Черников и громогласно добавил: – Валя, иди, я тебя с твоим юным критиком познакомлю.

Чувствуя, что стремительно и неудержимо краснеет, Сашка попытался спрятаться за Баяра, но Распутин уже шагнул в их сторону, с мягкой, заведомо прощающей улыбкой оглядел всех сразу, поздоровался с журналисткой и поинтересовался, глядя на Черникова, но держа в поле зрения и Сашку:

– И как, разгромно покритиковал?

– Ну да, ты же еще не видел. Дай-ка, Лилечка... – Черников взял у Ларик газету, развернул, протянул Распутину. – Во всяком случае, объемно... – И уже серьезно, без иронии, произнес: – Тем не менее, почитай, кое-что он верно подметил... Вот, правда, Лиля со мной не согласна...

И провокационно прищурился.

Эта манера Черникова хвалить человека и одновременно унижать, или, унижая, расхваливать, бесила Сашку с той поры, как он его узнал. Но именно это и делало Черникова занимательным и запоминающимся собеседником.

– Борис Иванович, не надо передергивать... Мы с юношей не оппоненты, – она окинула Сашку внимательным и заинтересованным взглядом. – В принципе есть любопытные мысли, при авторе повести будет сказано, – она стрельнула глазами в сторону Распутина.

– Хотя, на мой взгляд, кое-какие высказывания спорны... Я с ними не соглашусь. Ну и мастерства, естественно, не хватает, – перевела взгляд больших карих глаз на Сашку, улыбнулась. – Хотя, юноша ведь университетов не заканчивал, а значит, ему стилистические погрешности можно простить...

Распутин молча читал рецензию.

Подошел Машкин, заинтересованно прислушался. Пристроился рядом, заглядывая в газету.

– Познакомься с рецензентом... – отвлек его Черников, указав на Сашку. – Александр Жовнер, между прочим, студент политехнического, будущий геолог...

– Геолог? – обрадовался Машкин. – Коллега, значит... Наш брат талантлив, ничего удивительного, профессия романтическая...

– Не совсем геолог, – невнятно буркнул тот, но никто не расслышал.

– Каждое «поле» – готовая повесть, только не ленись...

Распутин скользнул по Жовнеру взглядом, продолжая складывать газету удобнее для чтения, произнес:

– Рад познакомиться... Приятно, что читают журналы не только лирики... Оценивать не стану, не читал... – И спросил: – Стихи пишете?

– Нет, – мотнул головой Сашка.

– Рассказ написал, Дима Сергеев читал... – ответил за него Черников и тут же поинтересовался у подошедшего Сергеева. – Как тебе рассказ, Дмитрий Сергеевич?

– Который ты дал? – уточнил тот, не слышавший их разговора. – Неплохой... Давай, показывай своего протеже, не интригуй...

– Вот он стоит...

Черников указал на совсем растерявшегося Сашку.

В глазах Сергеева промелькнуло удивление. Сашка приготовился услышать что-нибудь неприятное, но тот сказал:

– Замечательно... Об остальном мы с ним наедине... – И, понимая, что все же должен что-то сказать, добавил: – Рассказ есть, только чуть-чуть надо поработать... И я готов в альманахах рекомендовать...

– Давай и я почитаю, – предложил Машкин. – Мне интересно, что коллега сочиняет...

– Доработаем и дадим, – пообещал Сергеев и повернулся к Сашке.

– Не возражаешь?

Тот согласно покивал.

– А теперь мы отойдем с автором, где потише, пошепчемся...

– Метерлинка напоминает, – услышал, отходя, Сашка голос Черникова. – Ничего не происходит вроде, а читаешь... Но работать надо много...

И эта фраза застряла в голове. Он все повторял ее, не понимая и не постигая смысла, потому что о Метерлинке услышал первый раз.

Сергеев остановился у окна, в стороне от все еще продолжавших обсуждать собрание разгоряченных писателей, остужаемых ворчащей уборщицей, протирающей полы от осевшей пены. Протянул рукопись рассказа.

– Я почеркал немного карандашом, вопросы кое-где поставил.

Посмотри и заходи домой ко мне. – И, пристально глядя на Сашку, негромко, так, чтобы слышал только он, произнес: – Что же касается твоих отношений с куратором из органов, Борис мне сказал об этом, принимай решение сам. Только учти, полутонов в таких делах не бывает. И переиграть такую машину ты не сможешь. Здесь либо нужно соглашаться, либо категорически отказываться... Но выбор только за тобой. И тайна выбора останется только твоей. Что бы ты потом ни говорил, никто не будет верить до конца... Это как метка... – И завершил: – Вот такая печальная дилемма...

Сашка кивнул, не зная, что говорить, и совсем не представляя, как он будет доделывать рассказ, что там еще можно изменить или дописать, стал сворачивать листы в рулон, не замечая этого. Проходившие мимо Распутин, Машкин и Черников (Распутин тоже держал в руке свернутую газету) предложили пойти в буфет, выпить пива. Сергеев пошел с ними, а Сашка остановил направившегося следом Баяра, убеждая, что им сейчас никак не стоит идти с остальными в буфет, не размазывать первое впечатление друг от друга, и тот ему поверил. По всему было видно, что он относится к нему сейчас с большим, чем прежде, уважением.

Они вышли на улицу, вдохнули прохладу весеннего вечера, пошли к центру, решив зайти поужинать в любимую студентами всего города пельменную, где порции были большими, пельмени – вкусными. И по пути, и за столиком, вылавливая из бульона душистые полумесяцы, все вспоминали разные моменты собрания, уточняя имена действующих лиц, все более возбуждаясь от понимания того, что и разговоры, и споры, и даже скандалы, свидетелями которых они стали, были гораздо интереснее, чем в их обыденной жизни.

– «Новый мир» надо весь прочитать, – неожиданно дал себе зарок Баяр. – И другие толстые журналы смотреть надо... Ты у Машкина что-нибудь читал?

Сашка не вспомнил.

– А он, между прочим, ваш геологоразведочный закончил... И вообще, мы мало иркутских писателей знаем, надо восполнить пробел, «Ангару» почитать. – И неожиданно сменил тему: – А эта Ларик, вообще, эрудит... Мы с ней немного пообщались. Кстати, она твою рецензию раскритиковала, просто не стала об этом Распутину говорить. – И, заметив, что Сашка огорчился, добавил: – Но сказала, что у тебя, несомненно, есть способности, только не развитые, и что надо было тебе в университет поступать.

– Ну да, великая прорицательница, – все же не сдержал обиды Сашка. – Будто после университетов все писателями становятся. Вот Чехов – врачом был, Шолохов вообще не учился, Платонов – технарь...

– Это точно, – поддержал его Баяр, тем самым подтверждая их политехническое единство.

...В следующие недели так все завертелось в преддипломной суете, что к Сергееву заглянуть не было времени, хотя Сашка исправил отмеченные фразы, и, подумав, согласился с тем, что было вычеркнуто карандашом. Даже с Машей виделись только в институтских коридорах, пробегая мимо друг друга, она – на зачет, он – на консультацию, она – на защиту курсовой, он – на зачет...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.